

Странник и его тень

Ницше Фридрих Вильгельм

Странник и его тень

Тень: Давно не слышала я тебя, и потому, если хочешь, поговори со мною.

Странник: Я слышу голос; но где? И чей? Мне кажется, я слышу самого себя, но этот голос слабее моего.

Тень (немного спустя): Разве ты не рад случаю поговорить?

Странник: Клянусь всем, во что не верю! Это говорит моя тень; я слышу это, но не верю.

Тень: Предположим, что это так, и не будем больше об этом говорить; через час все пройдет.

Странник: То же самое было со мной в Пизе, когда я увидел в лесу сначала двух, а потом пять верблюдов.

Тень: Это хорошо, что мы одинаково снисходительны друг к другу, пока молчит рассудок; так не будем же досаждать друг друга, не станем теснить друг друга, когда слова противника будут непонятны. Если не знаешь, что ответить, то говори хоть что-нибудь. Под этим скромным условием, я всегда говорю с каждым. При слишком длинной беседе и самый мудрый бывает однажды дураком и трижды простаком.

Странник: Твоя снисходительность не лестна для того, кому оказывается.

Тень: Так не должна ли я льстить?

Странник: Я думал, что человеческая тень — это его тщеславие; но ведь она бы не стала спрашивать: должна ли я льстить?

Тень: Человеческое тщеславие, насколько я знаю, не спрашивает, можно ли ему говорить, а говорит всегда; а я спрашивала уже дважды.

Странник: Теперь только понимаю я, моя милая тень, как неучтив был я с тобой; ведь я еще не обмолвился ни одним словом о том, как мне приятно не только видеть, но и слышать тебя. Ты должна знать, что я люблю тень не меньше света. Тень, как и свет, необходима для того, чтобы придать прелесть лицу, выразительность речи, доброту и твердость характеру. Они не противники, а скорей союзники, дружно идущие рука об руку; и когда исчезает свет, то пропадает и тень.

Тень: И я так же, как и ты, ненавижу ночь, а люблю людей; ведь они апостолы света, и меня радует блеск в очах этих неутомимых исследователей и изобретателей, когда они исследуют или открывают что-нибудь. Та тень, которую отбрасывают все предметы при свете познания, — эта тень тоже я.

Странник: Хотя ты и выражаешься несколько туманно, однако, я думаю, что понял тебя. Ты имеешь на это право: добрые друзья, в знак своего понимания употребляют туманные слова, загадочные для постороннего. И мы — добрые друзья; поэтому не надо больше предисловий! Сотни вопросов теснятся в моей душе, а время, предназначенное для твоих ответов, быть может, слишком коротко. Посмотрим же, в чем мы сходимся друг с другом.

Тень: Но тени более боязливы, чем люди; надеюсь, ты не передашь никому о том, как разговаривали мы.

Странник: Как разговаривали мы? Да хранит меня небо от длинно писанных диалогов! Если бы Платон увлекался меньше своими диалогами, то читатели находили бы в нем больше наслаждения. Разговор бывает занимателен, но в письменной передаче он похож на картину с ложными перспективами: все или слишком удлинено, или слишком укорочено. Однако я, быть может, и поделюсь тем, в чем мы сойдемся с тобой.

Тень: Против этого я ничего не имею, так как в этих случаях все снова узнают твои взгляды, и никто не подумает о тени.

Странник: Пожалуй, ты ошибаешься, мой друг! До сих пор люди признавали в моих взглядах не меня, а скорей мою тень.

Тень: Как? Тень, а не свет? Возможно ли это?

Странник: Ну, будь же серьезна, моя милая дурочка! Ведь уже первый мой вопрос потребует серьезного отношения.

1

О древе познания. — Вероятность, а не истина, призрак свободы, а не свобода — вот те плоды, в силу различия которых нельзя смешивать древо познания с деревом жизни.

2

Мировой ум. — Что мир не мысль вечного разума, видно уже из того, что та часть мира, которую мы знаем (я говорю о нашем человеческом уме), не слишком разумна. Так как эта часть мира не всегда вполне мудра и разумна, то, очевидно, что это верно и относительно остального мира. Здесь заключение a minori ad majus, a parte ad totum — вполне правильно.

"В начале было". — Прославлять начало есть чисто метафизическая потребность; она всплывает снова при рассмотрении истории и предполагает несомненно, что в начале всего находится самое важное и существенное.

Мера для оценки истины. — Труд, затраченный для подъема на гору, никак не может быть мерилем высоты горы. "Но не то в науке!" — говорят люди, мнящие себя компетентными в ней. Здесь усилия, потраченные на открытие истины, прямо определяют цену истины. Такая сумасбродная мораль исходит из мысли, что истины — нечто иное, как орудия турниров, с которыми мы отважно должны трудиться до изнеможения. Это мораль для атлетов и гимнастов ума.

Язык и действительность. — Люди с притворством презирают самые близкие к ним вещи, хотя, на самом деле, они наиболее важны для них. Так, например, говорят, что "люди едят только для того, чтобы жить", — но ведь это постыдная ложь также как и та, в силу которой будто бы деторождение только имеется в виду при удовлетворении своего сладострастия. И, наоборот, высокая оценка самых «важных» вещей почти всегда не настоящая. К этому притворству, к этим преувеличенным выражениям приучили нас жрецы и метафизики; но они не переделали те чувства, в силу которых мы понимаем, что эти важнейшие вещи не так важны, как те презренные, но очень близкие нам вещи. Печальным результатом подобной двойственности является то, что самые близкие вещи, как, например, еда, жилище, одежда, взаимные отношения, уже не служат предметом непрестанного, всеобщего внимания и заботы; они слишком низки для того, чтобы на них серьезно направлять наши интеллектуальные и творческие силы; так что здесь, над неразумными людьми, особенно над неопытной молодежью, одерживают верх привычка и легкомыслие. Однако, такое презрительное нарушение элементарных правил гигиены тела и духа приводит и молодых и старых к постыдной зависимости и несвободе. Я подразумеваю излишнюю зависимость от врачей, учителей и попечителей о наших душах, гнет которых тяготеет над всем обществом.

Земное уродство и главная причина его. — Если всмотреться кругом, то на каждом шагу можно встретить людей, которые всю жизнь едят яйца и не знают, что продолговатые яйца наиболее вкусны; не знают, что гроза полезна для желудка, что ароматы духов сильнее в чистом, прохладном воздухе, что не все части рта одинаково чувствительны ко вкусу, что обеды с хорошими речами, которые приятно слушать, вредны для желудка. Эти примеры уже сами по себе служат доказательством недостатка нашей наблюдательности; и тем более нужно согласиться, что большинство людей презрительно относится к самым близким вещам и почти не обращает на них внимания. Но разве это не важно? Если вдуматься, то от этого невнимания происходят все телесные и душевные недуги: не знать что полезно и что вредно для нас в нашем образе жизни, в распределении дня, в выборе знакомств, в нашей службе и в нашем досуге, в наших приказаниях, в нашем подчинении, в впечатлениях, получаемых от природы и от произведений искусств, в еде, сне, размышлениях, — все это неведение в мелочах повседневной жизни превращает для многих нашу землю "в юдоль скорби". Нельзя сказать, чтобы это происходило от человеческого недомыслия; напротив того, ума достаточно и даже слишком много, но он ложно направлен и искусственно отклонен от мелких, но самых близких для нас предметов. Наставники, учителя, всякого рода властолюбивые идеалисты, грубые и более тонкие, еще с пеленок учат нас, что суть в спасении души, в служении государству и науке, в почете и богатстве, что это те средства, которыми мы можем оказать услуги всему человечеству, тогда как потребности отдельного человека, его повседневные мелкие и крупные нужды достойны презрения и к ним можно относиться с полным равнодушием. Уже Сократ всеми своими силами восставал против надменного презрения к человеческому ради человека и любил напоминать людям о настоящем круге их забот и попечении, вспоминая стих Гомера: важно то, и только то, говорил он, "что хорошо и что плохо у меня в доме".

Два средства утешения. — Еще Эпикур, духовный успокоитель позднейшей древности, говорил, что для успокоения духа вовсе не нужно разрешения конечных, далеких, теоретических вопросов; в этом случае он обладал проницательностью, какую трудно встретить и теперь. Ему казалось достаточным сказать тем, которых мучила "боязнь богов": "если боги существуют, то им нет никакого дела до нас", — вместо того чтобы

завязывать бесплодные, ни к чему не ведущие споры о том, существуют ли боги вообще. Такой прием более удобен и плодотворен: человеку дают сделать несколько шагов вперед, и тогда он начинает более охотно выслушивать и соглашаться. Но если человек начинает доказывать противное, т. е., что боги пекутся о нас, то бедняга, без всякого вмешательства, сам впадает в грубые ошибки и заходит в непроходимые дебри; спорящий с ними может в этом случае сделать только одно: из чувства гуманности и деликатности скрывать свое сожаление перед подобным зрелищем. Наконец, человек доходит до самого сильного аргумента против всяких положений, до отвращения к своим собственным выводам: он становится равнодушным и переживает такое же настроение, как и любой атеист: "что мне за дело до богов, думает он, пусть убираются они к черту!" В тех же случаях, когда настроение человека омрачалось какой-нибудь полуфизической, полуморальной гипотезой, Эпикур не опровергал этой гипотезы; он признавал ее возможной, но давал понять, что возможна и другая гипотеза для объяснения того же явления и что явление в таком случае принимало совсем другой вид. Подобный взгляд на гипотезы успокаивает умы и в наше время: напр., в вопросе о происхождении угрызений совести можно допустить много гипотез, чтобы освободить душу от той мрачной тени, которая набрасывается на нее единственно общеизвестной гипотезой и которой в силу этого придают слишком большое значение. Таким образом, желая успокоить несчастных, надо помнить о двух успокоительных средствах Эпикура; они применимы во многих случаях. В простейшей форме их можно выразить следующими двумя способами: или пусть это будет так, и в таком случае что нам до этого за дело; или это может быть и так, а может быть и иначе.

8

Ночью. — С наступлением ночи ближайшие к нам предметы настраивают нас на иной лад. Ветер то шепчет, будто прокравшись к нам незаконными путями, то завывает, словно не может отыскать того, что ищет. Тусклый, красноватый свет лампы, нетерпеливый раб бодрствующего человека, как бы истомлен своей вынужденной борьбой с мраком. Мерное дыхание спящего нагоняет на нас уныние, и кажется, будто к нему примешивается мелодия постоянных забот, — мы не слышим ее, но, когда грудь поднимается вверх, мы чувствуем, как сжимается сердце; когда же дыхание выходит из груди и наступает почти мертвенная тишина, то мы говорим себе: "успокойся немного, бедный, истомившийся дух!" Мы желаем покоя, вечного покоя всему живому; ведь все живет под таким гнетом, и ночь настраивает нас на мысль о смерти. Если бы люди лишились солнца и боролись при свете луны и масла против ночи, то какая философия окутала бы нас своим покрывалом! Мы и то слишком ясно замечаем, как омрачается умственное и душевное состояние человека, благодаря полусуточному мраку и отсутствию солнца, как тускнеет от этого вся жизнь.

9

Откуда ведет свое начало учение о свободе воли. — Перед одним человеком необходимость стоит в виде его страстей, перед другим — в виде привычки слушать и слушаться, перед третьим — как логическая совесть, перед четвертым — как каприз и желание к скачкам в сторону. Подобно шелковичному червю, ищущему свободу своей воли в своих паутинках, эти четверо ищут свободу воли именно там, где связаны больше всего. Отчего же это происходит? Несомненно оттого, что каждый видит свою свободу именно в том, в чем сильнее всего его чувство жизни, следовательно или в страсти, или в долге, или в познании, или в подвижности. Им кажется, что элемент свободы заключается именно в том, чем силен человек, в чем проявляется у него чувство жизни: по их мнению, зависимость неразрывно связана с притуплением чувства, а независимость — с его силой. Таким образом в сферу метафизики ошибочно переносится опыт, добытый из общественно-политической сферы; в последней, действительно, сильный человек — свободен, живое чувство радостей и страданий, высокие надежды, смелые порывы, сильная ненависть — являются атрибутами господствующего и независимого человека, тогда как подчиненный, тупой живет под притупляющим гнетом. Учение о свободе воли есть выдумка господствующего класса.

10

Не чувствовать новых оков. — Пока мы не чувствуем гнета нашей зависимости, мы чувствуем себя свободными: это ложное заключение свидетельствует о гордости и властолюбии человека, так как оно этим устанавливает, что человек, при всяких обстоятельствах, как только появляется зависимость, тотчас замечает и определяет ее, в силу чего он необходимо допускает, что вообще человек пользуется независимостью, и если в виде исключения утрачивает ее, то непременно чувствует это. Но верно противоположное мнение, а именно, что человек всегда в сложной зависимости и чувствует себя свободным лишь потому, что благодаря долголетней привычке не ощущает своих оков. Только новые оковы чувствует он. "Свобода воли" значит, в сущности, отсутствие ощущения новых оков.

11

Свобода воли и изоляция фактов. — Благодаря обычному недостатку точности в наших наблюдениях, мы целую группу явлений принимаем за одно и называем это фактом; а между отдельными фактами мы представляем себе пустые промежутки, которыми изолируем факты. В действительности же все наши поступки, все наше знание не есть совокупность фактов и пустых промежутков, — нет, это непрерывный поток. Но теория свободы воли несовместима с представлением о непрерывном, неделимом, постоянном потоке и заранее предполагает, что каждый отдельный поступок изолирован и неделим; это атомистика в области воли и познания. Мы недостаточно точно понимаем как характеры, так и факты: мы говорим об одинаковых характерах, об одинаковых фактах, но ни тех, ни других не существует в действительности. И вот мы хвалим или порицаем, однако на основании того ошибочного предположения, будто бы существуют одинаковые факты и можно составить нисходящий ряд какого-либо рода фактов, соответствующий нисходящему ряду творений. Итак, мы изолируем не только отдельные факты, но и целые группы мнимо одинаковых фактов (хорошие, дурные, сострадательные, завистливые поступки и т. д.); но и то и другое ложно. Слова и понятия являются наиболее наглядным основанием того, что мы верим в это изолирование целых групп фактов. Словами и понятиями мы не только обозначаем вещь, но и думаем первоначально уловить при их помощи и сущность вещей. Слова и понятия вводят нас постоянно в заблуждение, мы представляем себе вещи более простыми, чем они в действительности, отделенными друг от друга, неделимыми, т. е. существующими независимо. В словах скрыта философская мифология, которая постоянно сказывается, как бы мы ни старались быть осторожными. Вера в свободу воли, т. е. в тождество и изолированность фактов, находит в языке своих верных проповедников и защитников.

12

Основные ошибки. — Чтобы ощущать душевную радость или горе, человек должен быть ослеплен одной из двух следующих иллюзий: или он должен верить в тождество известных фактов, известных восприятий; в этом случае он сравнивает свое теперешнее состояние с предыдущими, сходство или несходство их (каковыми они сохраняются в его памяти) доставляют ему радость или горе; во-вторых, он может верить в свободу воли; в этом случае он как бы говорит: "этого я не должен бы делать", или: "это я мог бы сделать иначе", — и таким образом ощущает радость или горе. Только эти заблуждения доставляют нам душевное удовольствие и недовольство; без них не могло бы существовать человечество, основанием внутреннего мира которого была и будет вера в то, что человек свободен в мире несвободы; что, каковы бы ни были его поступки, хороши или дурны, он творит вечные чудеса; что он представляет удивительное исключение, сверхживотное, почти божество, цель творения, разгадку космической загадки, великого повелителя природы, презирающего ее, существо, считающее свою историю мировой! — *Vanitas vanitatum homo*.

13

Двойное выражение. — Хорошо двойко выражать одну и ту же вещь и, таким образом, придавать ей правую и левую ногу; на одной ноге истина может только стоять, а с двумя — ходить и поворачиваться.

14

Человек, комедиант мира. — Должны были бы существовать существа, более возвышенные, чем человек, хотя бы только для того, чтобы понятнее стал весь юмор, заключающийся в том, что человек считает себя за цель всего мирового бытия и что человечество может примириться только с мыслью о какой-то мировой миссии. Музыка сфер, окружающих землю, была бы тогда сатирическим смехом всех остальных творений, окружающих человека. Скучающее бессмертное существо как будто мучительно ласкает свое любимое животное, чтобы находить наслаждение в трагически гордых жестах и выражениях его страданий, и вообще в духовной изобретательности самого суетного творения, наслаждаясь изобретением этого изобретателя. Ведь тот, кто выдумал человека для своего развлечения, обладает, конечно, большим умом, чем человек, и находит больше радостей в своем уме. Даже и здесь, где человечество хочет добровольно смириться, тщеславие умеет сыграть с нами шутку, так как мы, люди, по крайней мере в этом отношении могли бы представлять собою нечто несравненное и чудесное. Наше исключительное положение в мире представляется прямо чем-то невероятным. И вот астрономы, которые действительно обладают кругозором, выходящим за пределы земного шара, дают понять, что капля жизни на земле в сравнении с необозримым океаном бытия настоящего и прошлого не имеет никакого значения; что множество звезд имеют одинаковые с землей условия для развития жизни; но что и это множество звезд тоже едва ли не ничтожная горсть в сравнении с бесконечным множеством тех звезд, которые никогда не имели признаков жизни или на которых уже прекратилась всякая жизнь, и что период жизни на любой планете представляет только момент, одну минутную вспышку в сравнении с периодом ее существования, — следовательно, жизнь вовсе не цель и не конечный смысл существования планет. Быть может, и муравьи в лесу воображают, что они цель и смысл существования, поступая так же, как и мы, когда воображаем, что гибель

человечества обуславливает гибель земли. Мы еще скромны, если ограничиваемся только этим и не приурочиваем к похоронам последнего смертного вообще помрачение и мира, и богов. Самый добросовестный астроном представляет себе землю без жизни не иначе как светлым, несущимся могильным холмом человечества.

15

Человеческая скромность. — Как мало радостей нужно большинству людей, чтобы считать жизнь хорошей, — как скромнен человек!

16

Где необходимо равнодушие. — Ожидать, что наука дойдет когда-нибудь до полного разрешения вопросов о первоначальной причине и конечной цели всех вещей, а до тех пор мыслить по-старому (именно верить!) — есть самый извращенный взгляд, хотя его довольно часто советуют практиковать. Стремление иметь в этом отношении только вполне несомненные ответы есть не более как мистическая потребность, скрытый и только по внешности скептический вид "метафизической потребности", основанный на задней мысли, что еще долгое время не будет ничего добыто в этой области конечных причин, и потому «верующий» в праве пока не обращать внимания на всю эту область. Однако, для существования цельного и здорового человечества таких твердо установленных положений относительно отдаленнейших горизонтов так же не необходимо, как и муравью, чтобы оставаться хорошим муравьем. Мы должны скорее выяснить себе, в силу чего мы этим вопросам придаем такое роковое и важное значение; а для этого мы должны воспользоваться историей развития религиозных и этических чувствований. Ведь, благодаря последним, вопросы эти стали так важны и достойны внимания: в самые далекие сферы, куда только направляется взор, не проникая в них, и туда мы внесли такие понятия, как ответственность, наказание (вечное наказание!), что было тем более неосмотрительно, что сферы эти остаются для нас вполне неясными. Еще в древности люди любили фантазировать в тех вопросах, относительно которых не могли установить ничего прочного, с гнусным упрямством убеждая потомство, что фантазии эти — строгая истина и что вера важнее знания. Относительно этих конечных вопросов необходимо противопоставить вере не знание, но равнодушие к вере и мнимому знанию! Для нас должны быть ближе все вопросы, кроме этих, считавшихся до сих пор важнейшими, — я подразумеваю вопросы: для чего создан человек? каков удел его после смерти? и другие такие же курьезы. На эти вопросы надо обращать так же мало внимания, как и на вопросы философов-догматиков, кто бы они ни были: идеалисты, материалисты или реалисты. Все они стараются отвлечь нас к тем областям, которые чужды и вере, и знанию; даже для величайших любителей познания было бы полезнее, если бы вокруг всего доступного исследованию разума лежала туманная, обманчивая, болотная полоса непроницаемого, вечно таинственного, неопределенного. Именно по сравнению с этим царством тумана на краю области познания увеличивается все значение светлого и близкого всего ближайшего мира знания. Мы должны снова стать добрыми соседями с самыми близкими к нам вещами и не смотреть с таким презрением поверх их на облака и ночные чудовища. В лесах и в оврагах, в болотах и под нависшим небом жил человек целые тысячелетия и жил в постоянной нужде. В этих условиях он научился презирать действительность, презирать все близкое, даже жизнь и самого себя; и мы, обитатели светлых равнин природы и духа, носим еще в крови наследие этого яда презрения к самым близким нам предметам.

17

Глубокие объяснения. — Когда человек придает какому-нибудь месту в произведении автора более глубокое значение, чем оно имеет на самом деле, то этим он не объясняет автора, а только затемняет его. Такое же, а может быть, и худшее положение заняли наши метафизики по отношению к тексту природы; чтобы глубже разъяснить текст, они нередко сначала начинали выправлять, т. е. искажать его. В виде курьезного примера искажения текста и затемнения автора мы можем привести мнение Шопенгауэра относительно беременности женщины. "Признаком постоянной наличности стремления воли к жизни во времени является половой акт; а признаком нового проявления, присоединяющегося к этой воле, и притом в высшей степени явным, служит зачатие нового человека с его волей жизни. Этот признак есть беременность; ее не скрывает человек, но даже гордится ей, тогда как половой акт скрывается как нечто преступное". Шопенгауэр утверждает, что любая женщина, захваченная врасплох во время полового акта, может прямо умереть со стыда, "свою же беременность выставляет она на вид не только без чувства стыда, а даже с некоторой гордостью". Прежде всего, никак нельзя больше выставлять напоказ это состояние, чем оно само выставляет себя; таким образом Шопенгауэр, говоря об умышленном обнаруживании беременности, подготавливает текст, подходящий к заранее подготовленному объяснению. Точно так же неверно, что это явление будто бы всеобщее; он говорит о "любой женщине"; однако, большинство молодых женщин в состоянии беременности чувствуют мучительный стыд даже перед ближайшими родственниками; и если женщины более зрелого и даже преклонного возраста, особенно из низших классов, отчасти как бы гордятся этим состоянием, то лишь потому, что они этим дают понять, что все еще нравятся

своим мужьям; при виде их беременности сосед и соседка или прохожий скажут или подумают про себя: "возможное ли это дело", — а подобное замечание льстит женскому тщеславию при духовном застое. Исходя из взгляда Шопенгауэра, мы должны были бы допустить, наоборот, что самые умные и развитые женщины должны были бы особенно выставлять напоказ свою беременность, так как они имеют много шансов родить чудо-ребенка, причем тут «воля» еще раз отрекается от себя ради общего блага; а глупые женщины, напротив того, имели бы все основания скрывать свою беременность и стыдиться ее больше всего. Нельзя согласиться, что все положения Шопенгауэра заимствованы им из действительности. Пожалуй, Шопенгауэр прав только в том, что женщины в состоянии беременности обнаруживают наибольшее самодовольство; но для этого имеется объяснение более подходящее к действительности, чем предлагаемое им. Стоит только припомнить кудахтанье наседки перед тем, как снести яйцо: смотрите, мол, смотрите, я снесу яйцо, я снесу яйцо!

18

Современный Диоген. — Прежде чем искать человека, надо найти фонарь. Будет ли это неизбежно фонарь циника?

19

Неморалисты. — Моралистам должно бы теперь нравиться, что их называют неморалистами, так как они вскрывают нравственность; а тот, кто делает вскрытие, совершает убийство; однако, вскрытия делают для того, чтобы лучше знать, лучше судить и чтобы вообще людям лучше жилось, а не для того, чтобы весь свет делал вскрытия. К сожалению, люди все еще до сих пор думают, что каждый моралист во всех своих поступках должен служить примером, которому должны все подражать: они смешивают его с проповедником морали. Прежние моралисты любили больше проповедывать, чем делать вскрытия. В этом и кроется причина и упомянутого смешения и неблагоприятных условий для теперешних моралистов.

20

Не смешивать. — Моралисты, рассматривающие возвышенный, могущественный, самоотверженный образ мыслей героев, встречающихся, например, у Плутарха, или чистое, светлое, пригревающее душевное состояние истинно хороших мужчин и женщин, как трудную проблему познания, исследующие происхождение этих явлений, сводя сложное к более основному, сосредоточивая свое внимание на запутанности мотивов, на вплетенных тонких нитях ошибочных понятий, на унаследованных, постепенно развившихся отдельных чувствованиях и группах чувствований, — такие моралисты, говорю я, очень часто смешиваются с теми, от которых они более всего отличаются. Да, их часто смешивают с теми жалкими моралистами, которые не верят ни в какое умственное или нравственное величие и стараются скрыть свое духовное убожество в блеске чужого величия и чистоты. Первые моралисты говорят: "это — проблема", а эти ничтожные люди твердят: "здесь все лгуны и ложь"; таким образом, последние отрицают даже существование того, что первые пытаются объяснить.

21

Человек как измеритель. — Вероятно, вся нравственность человечества имеет свое начало в том страшном духовном возбуждении, которое испытывал первобытный человек, когда он впервые открыл меру и измерение, вес и весы. (Слово «Mensch» — человек означает «Messende» — измеряющий, так как человек желал назвать себя по имени своего величайшего открытия!) С такими представлениями люди возвысились до областей, где немисливо измерение и взвешивание, но им казалось, что и здесь возможно и то и другое.

22

Принцип равновесия. — Грабитель и тот сильный человек, который обещает охранять общество от грабителей, вероятно, в сущности вполне сходные существа и отличаются только тем, что второй извлекает свою выгоду иначе, чем первый; он извлекает свою выгоду из равномерных обложений, которые уплачивает ему община, а не из контрибуций. (Такое же отношение существует и между купцом и пиратом, оба занятия соединялись долгое время в одном лице, и в случае, если одно казалось невыгодным, человек прибегал к другому. В сущности и теперь мораль купца — это утонченная мораль пирата, а именно: покупать по возможности дешевле, — если можно, уплачивая только издержки предприятия, — и продавать по возможности дороже). Суть вся в том: сильный обещает служить противовесом грабителю, и при этом слабые видят возможность жить. Они должны или сами сплотиться в противодействующую силу, или подчиниться одной противодействующей силе (за услуги которой они уплачивают вознаграждение). Предпочтение охотно отдается последнему способу, так как в этом случае сдерживаются два опасных начала, первое при помощи второго, а второе помощью собственной выгоды;

для второго выгодно обращаться милостиво и снисходительно с подчиненными, чтобы они могли содержать не только себя, но и своего повелителя. Правда, и в этом случае дело не обходится без суровых жестокостей; однако, люди начали дышать свободнее, чем раньше, когда во всякое время они могли ожидать полного истребления. Община в самом начале бывает организацией слабых в противовес грозной силе. Организация в подавляющую силу была бы полезнее, если бы могла сразу уничтожить противодействующую силу; и действительно, если бы дело шло об отдельном могущественном враге, то люди, наверное, испробовали бы это средство. Если же этот противник — глава рода или человек пользуется большим влиянием, то быстрое, решительное уничтожение невозможно и приходится довольствоваться медленной, продолжительной борьбой. Подобное состояние наименее благоприятно для общины, так как она, благодаря этому, теряет время, необходимое для добывания средств к пропитанию, и рискует каждое мгновение лишиться того, что было ею достигнуто с таким трудом. Оттого-то община и предпочитает, чтобы сила для защиты и нападения была на той же высоте, как и сила опасного соседа, и чтобы противник понимал, что и на их чашке весов лежит столько же груза, сколько и у него: почему бы им не быть тогда добрыми друзьями? Таким образом равновесие является очень важным принципом в древнейшем учении о праве и нравственности; равновесие — это базис справедливости. Когда в более грубые времена мы встречаемся с принципом справедливости "око за око, зуб за зуб", то принцип этот указывает на достигнутое уже равновесие, которое он и хочет удерживать, так что отныне, если кто-нибудь совершит насилие, то потерпевший не станет в запальчивости прибегать к мести. Нарушенное равновесие восстанавливается благодаря "jus talionis": ведь в те далекие времена глаза, руки представляли часть могущества. Внутри общины, где члены рассматривались как равнозначные, против проступков, т. е. нарушения принципа равновесия, имеются позор и наказание: позор — это противовес, установленный против отдельного лица, стяжавшего посредством захвата выгоду, но, благодаря позору, терпящего теперь убытки, которые уничтожают и превышают прежнюю пользу. То же значение имеет наказание: перевесу, который себе позволяет всякий преступник, оно противопоставляет гораздо больший противовес: насилию — тюремное заключение, воровству — возвращение похищенного и штраф. Преступнику, таким образом, напоминают, что он, благодаря своему поступку, выделил себя из общины и лишился присущих ей нравственных выгод: и община относится к нему как к неравному, слабому, вне ее стоящему (ей чуждому); поэтому наказание не есть только возмездие: оно заключает в себе нечто большее, а именно суровость первобытного состояния, о которой и хотят напомнить преступнику.

23

Имеют ли приверженцы учения о свободной воле право наказывать? — Люди, которые судят и наказывают по обязанности, стараются в каждом отдельном случае установить, ответствен ли вообще преступник за свой поступок, мог ли он действовать так, как повелевал ему рассудок, были ли у него какие-нибудь мотивы, или же он действовал бессознательно и вынужденно? Если его наказывают, то за то, что он худшие мотивы предпочел лучшим, следовательно, как полагают, сознавал те и другие. Где такого сознания нет, там, по общему мнению, человек несвободен и неответствен, если только его незнание, как, например, его *ignorantia legis*, не было следствием предумышленного упущения, так как в этом случае, т. е. когда он не учился тому, что ему следует знать, он уже предпочитал дурные мотивы хорошим и теперь должен расплачиваться за последствия своего дурного выбора. Если же он по слабоумию или тупоумию не понимал хороших мотивов, то он не наказывается: говорят, что у него не было выбора, что он действовал как животное. У преступника, подвергаемого каре, предполагается именно преднамеренное игнорирование голоса рассудка. Но каким же образом может человек быть преднамеренно менее рассудительным, чем он должен быть? И откуда исходит решение, когда чашки весов переполнены хорошими и дурными мотивами? Не от заблуждения или ослепления, не от внешнего или внутреннего принуждения? (Впрочем, поразмыслив, мы поймем, что всякое так называемое "внешнее принуждение" есть не что иное, как внутреннее принуждение страха и боли). И мы опять спрашиваем: откуда? Решение, значит, не может исходить от рассудка, так как рассудок не мог бы предпочесть худшие мотивы лучшим. Вот здесь-то и призывается на помощь свободная воля: решающим импульсом якобы является окончательно воля, наступает момент, когда не действуют никакие мотивы, и поступок является в виде чуда, из ничего. Эта так называемая воля наказывается в том случае, когда не должно быть никакой воли: рассудок, знавший закон, т. е. то, что велено и что запрещено, не должен был, говорят, оставлять выбора, должен был приневолить, действуя в качестве высшей силы. Следовательно, преступник наказывается за то, что употребил свою "свободную волю", т. е. действовал без мотивов там, где должен был руководствоваться мотивами. А почему он так поступал? Но об этом именно и нельзя спрашивать: поступок этот не допускает вопроса "почему?", он ничем не мотивируется, ниоткуда не проистекает; он бесцелен и бессмыслен. Однако, в силу вышеизложенного первого условия всякой наказуемости, за такой поступок не следовало бы и наказывать! Но нельзя ссылаться и на тот вид наказуемости, когда что-нибудь не делается, что-нибудь упускается, и рассудок не действует, так как упущение было во всяком случае не преднамеренное, а наказуемым считается только преднамеренное неисполнение того, что велено. Правда, преступник предпочел дурные мотивы хорошим, но без причины и намерения: он действовал вопреки рассудку, но не для того, чтобы не слушаться его велений. То

предположение, которое делается по отношению к преступнику, заслуживающему кару, что он с намерением действовал наперекор рассудку, именно это предположение недопустимо, если признавать "свободную волю". Вы, приверженцы учения о "свободной воле", не имеете права карать, вы лишены этого права на основании ваших же принципов! Но в сущности эти принципы не более как странная мифология понятий, и насадка, которая их вывела на свет, высиживала их вдали от действительной жизни.

24

К характеристике преступника и его судьбы. — Преступник, которому известны все обстоятельства дела, не находит свой поступок таким непостижимым и из ряда вон выходящим, как его судьи и хулители; наказание же назначается ему именно соразмерно тому удивлению, которое испытывают судьи при виде поступка, кажущегося им непостижимым. Если защитнику какого-нибудь преступника достаточно хорошо известны и обстоятельства преступления и вся жизнь его клиента до этого времени, то так называемые смягчающие обстоятельства, которые он приводит одно за другим, в конце концов должны смягчить вину до полного ее исчезновения. Или, выражаясь яснее: защитник будет шаг за шагом смягчать то удивление, которое осуждало и определяло наказание, и, наконец, окончательно рассеет его, заставив каждого искреннего слушателя признаться самому себе, "что преступник должен был поступить так, как поступил; наказывая его, мы наказали бы вечную необходимость". Но соразмерять степень наказания со степенью сведений имеющихся, или которые можно заполучить по истории данного преступления, — не противоречит ли это всякой справедливости?

25

Мена и справедливость. — Мена только тогда была бы честной и справедливой, если бы каждый из меняющихся требовал лишь столько, сколько, по его мнению, стоит его вещь, включая сюда и трудность ее приобретения, и редкость вещи, и потраченное время и т. п., и даже ценность для него как любителя. Как только он назначает цену вещи соответственно нужде в ней другого, он становится утонченным грабителем и лихоимцем. Если одним из предметов мены являются деньги, то следует принимать в соображение, что рубль в руках богатого наследника, поденщика, купца и студента имеет совершенно различное значение, и смотря по тому, сколько каждый из них сделал — почти ничего или много — для приобретения этого рубля, он и должен бы получить за него. Этого требует справедливость, но в действительности, как известно, встречается как раз обратное: в финансовом мире рубль самого ленивого богача приносит больше прибыли, чем рубль работающего бедняка.

26

Правовые отношения как средства. — Право, основанное на договорах между равными, существует до тех пор, пока сила договаривавшихся одинакова или мало чем отличается одна от другой; благоразумие создало право, чтобы положить конец распри и бесполезной трате равных сил. Но это достигается так же хорошо, если одна из сторон делается значительно слабее другой: происходит подчинение, и право, как таковое, перестает существовать, но результат получается тот же, что и раньше, при нем. Теперь уж благоразумие более сильного заставляет его беречь силы подчиненного, не тратить их без пользы, и часто положение подчиненного более благоприятно, чем было положение равноправного. Следовательно, правовые отношения не цель, а временное средство, рекомендуемое благоразумием.

27

Объяснение злорадства. — Злорадство происходит оттого, что каждому человеку в каком-нибудь отношении, хорошо им сознаваемом, живется плохо: его гнетет или забота, или раскаяние, или боль; постигающее зло приравняет его к нам, вызывая в нас радость и успокаивая в нас чувство зависти. — Если в известный момент человек чувствует себя хорошо, то он тем не менее накапливает в своем сознании несчастье ближнего, как капитал, которым он может воспользоваться, когда несчастье постигнет его самого; и в этом случае он чувствует «злорадство». Мысль, настроенная на равенстве между людьми, простирает свое мерило и на область счастья и случайностей: злорадство самое обыкновенное признание победы и восстановления равенства даже и в области высших интересов. Злорадство существует лишь с тех пор, как человек научился видеть в других людях существа себе подобные, следовательно, с тех пор как создалось общество.

28

Произвол в соразмерности наказаний. — Большинство преступников так же случайно попадают под наказание, как женщины становятся матерями. Десять раз, сто раз они делали то же самое, не испытав дурных последствий, как вдруг все раскрывается, и их постигает кара. Привычка, казалось бы, должна служить смягчающим

обстоятельством для проступка, за который преступник наказывается: ведь, в нем образовалась наклонность, с которой труднее бороться. Вместо того, при подозрении, что преступление вошло в привычку, наказание бывает суровее, и привычка служит аргументом, не допускающим смягчения. Наоборот: безупречный образ жизни, на фоне которого преступление так страшно выделяется, должен бы усугубить вину! Но он обыкновенно является обстоятельством, смягчающим вину. Таким образом, все соразмеряется не по отношению к преступнику, а по отношению к обществу и тому вреду или той опасности, которые ему грозят: прежняя полезность человека зачитывается ему в виду того, что он причинил вред только раз, а вред, приносимый раньше, суммируется с вновь открытым, и на основании этого присуждается наивысшая кара. Но если карать или награждать таким образом человека также и за его прошлое (последнее в том случае, когда уменьшение наказания является наградой), то можно бы идти еще дальше и подвергать каре причину того или иного прошлого, т. е. родителей, воспитателей, общество и т. д.; во многих случаях сами судьи оказались бы причастными вине. Останавливаться на преступнике при наказании за прошлое есть чистейший произвол. Если уже нельзя найти оправдания для каждой вины, то следовало бы брать в расчет только единичный случай, не оглядываясь назад, изолировать вину, не приводя ее в связь с прошлым, иначе приходится грешить против логики. Вы, люди свободной воли, выводите необходимое заключение из вашего учения о "свободной воле" и смело провозглашайте, что "никакой поступок не имеет прошлого".

29

Зависть и ее более благородный брат. — Там, где равенство действительно проникло в жизнь и прочно установилось, возникает наклонность, считающаяся безнравственной и в первобытном состоянии едва ли даже мыслимая, именно зависть; завистливый человек чувствителен ко всякому возвышению другого над общим уровнем и желает или низвести его, или самому подняться до этого уровня. Из этого вытекают два различных образа действия, которые Гесиод называл злой и доброй Эридой. При равенстве является также и негодование на то, что одному живется хуже, чем он того заслуживает по принципу равенства, другому — лучше, чем следовало бы по тому же принципу: это аффекты более благородных натур. В вещах, не зависящих от произвола человека, эти более благородные личности, замечая недостаток справедливости, требуют, чтобы равенство, признаваемое людьми, признавалось бы также природой и случаем, и негодуют на то, что у равных неравная судьба.

30

Зависть богов. — "Зависть богов" возникает, когда человек, ниже ценимый в каком-нибудь отношении, или сам становится в уровень с высшим (подобно Аяксу), или выдвигается волею судьбы (как Ниобея в качестве чрезмерно благословенной матери). Внутри общественного классового порядка эта зависть требует, чтобы ничьи заслуги не были выше его общественного положения, а главное, чтобы сознание собственных заслуг не заходило за эти пределы. "Зависть богов" часто испытывает на себе победоносный генерал, как и ученик, создавший великое произведение.

31

Тщеславие как остаток первобытного состояния. — Так как люди в целях безопасности установили между собою равенство для основания общины, а это равенство в сущности противоречит природе отдельных лиц и вынуждено, то по мере того, как общая безопасность все более укрепляется, новые отпрыски старой наклонности стремятся пробиться в виде разграничения званий, выдающихся должностей и привилегий, и вообще во всевозможных проявлениях тщеславия (в манерах, туалете, языке и т. д.). Но лишь только данному обществу грозит опасность, масса, не бывшая в состоянии выдвинуться в чем-нибудь во время общего покоя, вновь домогается равенства: бессмысленные привилегии и проявления тщеславия на некоторое время исчезают. Если же общественный строй совсем разрушается и наступает анархия, то первобытное состояние, с присущим ему беззаботным, беспощадным неравенством, берет опять свое, как это было, по рассказам Фукидида, на о. Корцире. Не существует тогда ни естественного права, ни естественного бесправия.

32

Беспристрастие. — Беспристрастие есть дальнейшее развитие справедливости; оно устанавливается между людьми, не нарушающими равенства общины. В тех случаях, когда законом ничего не предписывается, оно вызывает, в интересах равновесия, более утонченное внимательное отношение друг к другу, причем каждый смотрит вперед и назад и следует правилу: "как ты ко мне, так я к тебе". *Aequum* ведь значит "соответственно равенству между нами"; благодаря этому принципу, сглаживаются мелкие различия до иллюзии полного равенства; в силу его требования мы прощаем друг другу многое такое, чего не должны были бы прощать.

Элементы мести. — Слово «мечь» так коротко и быстро произносится, что кажется, будто оно заключает в себе только один корень, т. е. одно понятие и чувство. Поэтому все еще стараются найти этот корень подобно тому, как наши политико-экономы не устали еще отыскивать такого же единства в слове «ценность» и доискиваться первоначального коренного понятия о ценности, как-будто все слова не являются карманами, в которые совали то одно, то другое, а часто и многое сразу! Поэтому и «мечь» означает то то, то другое, а то и нечто более сложное. Рассмотрим сначала тот удар, который мы почти бессознательно наносим неодушевленным предметам, о которые мы ушиблись, как, напр., движущимся машинам: смысл ответного удара — прекратить вредоносное действие машины тем, что мы ее останавливаем. Для достижения этой цели удар должен иногда быть настолько силен, чтобы разбить машину; если же последняя слишком прочна и один человек не в силах сразу разрушить ее, то он все-таки нанесет ей самый сильный удар, на который он способен, — делая как бы последнюю попытку. Таким же образом поступаем мы и относительно людей при непосредственном ощущении причиняемой нам боли. Если этот акт хотят называть актом мщения, то пусть называют, но не следует упускать из виду, что здесь одно чувство самосохранения руководило рассудочной машиной и что при этом думалось в сущности не о лице, наносящем вред, а только о себе: мы поступаем так не из желания причинить вред, а только с целью остаться целыми и невредимыми. — Для того, чтобы перейти мысленно от себя к противнику и сообразить, каким способом можно поразить его самым чувствительным образом, — нужно время. Это бывает при втором роде мести: здесь уже предполагается, что мысль занята вопросом об уязвимости противника и его способности страдать: нам хочется заставить его страдать. Предохранение же себя от дальнейшего вреда до такой степени теряется из виду, что сплошь и рядом мстящий наносит себе большой вред и зачастую очень хладнокровно ожидает этого. Если при первом роде мести страх перед вторым ударом заставляет отразить первый как можно сильнее, то при втором роде относишься совершенно равнодушно к тому, что противник будет еще делать; сила ответного удара определяется только тем, что он уже сделал. Но что же он сделал? и какая для нас польза в том, что он будет страдать после того, как мы через него пострадали? Здесь дело идет о восстановлении, тогда как акт мщения первого рода служит только к самосохранению. Наш противник лишил нас, быть может, имущества, положения, друзей, детей, — этих утрат мостью нельзя вернуть, и восстановление относится только к одной побочной потере, случившейся при всех других. Мечь восстановления не предохраняет от дальнейших потерь, она не возмещает тех, которые уже произошли, кроме одной, если от противника потерпела наша честь, то мечь может восстановить ее. Но наша честь затрагивается каждый раз, когда нам причиняют зло предумышленно: наш противник доказал этим, что он нас не боялся. Нашей мостью мы доказываем, что и мы его не боимся: в этом и состоит компенсация, восстановление. (Желание выказать полное отсутствие страха доходит у некоторых до того, что опасности, сопряженные с мщением — потеря здоровья, жизни или чего-либо другого, — им кажутся необходимым условием всякой мести. Поэтому они прибегают к дуэли, хотя правосудие им предлагает свою помощь и они могут получить удовлетворение за обиды и этим путем; но они считают безопасное восстановление своей чести недостаточным, потому что оно не может доказать отсутствие в них страха). — В мести первого рода причиной ответного удара был именно страх, между тем как здесь ответным ударом, как сказано, хотят именно доказать отсутствие страха. Очевидно, что внутренняя мотивировка того и другого образа действия, именуемых одним словом «мечь», до крайности различна; между тем мстящий часто сам не отдает себе отчета в том, что его понудило к мщению: быть может, он нанес ответный удар из страха и чувства самосохранения, а потом, когда у него было время подумать с точки зрения оскорбленной чести, он стал убеждать себя в том, что мстил за свою поруганную честь, — во всяком случае последний мотив благороднее первого. Существенное значение имеет еще вопрос, поругана ли была его честь в глазах других или только в глазах оскорбителя? В последнем случае он предпочтет тайную мечь, в первом — публичную. Смотри по тому, насколько он сумеет проникнуть в душу противника и зрителей, его мечь будет более или менее ожесточенная; если он не обладает этого рода фантазией, то он и не будет думать о мести, потому что у него отсутствует чувство «честь», следовательно, оно и не может быть оскорблено. Так же мало будет думать оскорбленный о мести, если он презирает и оскорбителя и свидетелей поступка, потому что они, как презираемые, не могут ни оказать ему чести, ни отнять ее у него. Наконец, он откажется от мести и в том случае, если, как это нередко случается, он любит своего оскорбителя, хотя он этим, в глазах последнего, может быть, многое теряет и становится менее достойным взаимности. Но любовь готова принести даже такую жертву, т. е. отказаться от взаимности, лишь бы только не огорчать любимого существа, так как огорчить его было бы больнее, чем принести ему эту жертву. Следовательно, каждый человек мстит, если только он не лишен чувства чести, не презирает обидчика, или если питает к нему любовь. Даже прибегая к правосудию, он ищет мести не в качестве частного лица, а как дальновидный и заботливый член общества, требует, чтобы общество мстило тому члену, который его не уважает. Таким образом, судебная кара восстанавливает честь как частного лица, так и общества, т. е. наказание есть мечь. В нем несомненно заключается также и первый элемент мести, рассмотренный нами в самом начале, а именно: поскольку общество прибегает к наказанию ввиду самосохранения и отвечает ударом в целях самозащиты. Наказанием имеется в виду, устрашая, предупредить дальнейший вред. Таким образом, в наказании сплетаются эти оба, столь различные, элементы мести, и это, быть

может, больше всего поддерживает вышеупомянутое смешение понятий, благодаря которому отдельное лицо, прибегающее к мести, обыкновенно не знает, чего оно собственно хочет.

34

Добродетели невыгоды. — Нам кажется, что в качестве членов обществ мы не имеем права подвизаться в известных добродетелях, которые нам, как частным лицам, делают большую честь и доставляют некоторое удовольствие, как, например, оказывать милость и снисхождение всякого рода нарушителям закона, — вообще не имеем права к такому образу действия, от которого из-за наших добродетелей общество потерпело бы какой-нибудь ущерб. Ни один суд не может позволить себе перед своей совестью быть милостивым: это право предоставлено королю как отдельной личности, и все рады, когда он этим правом пользуется, доказывая тем, что каждому хотелось бы быть милостивым, но только не в качестве совокупного общества. Таким образом, общество признает только добродетели, которые ему полезны или, по крайней мере, не вредны (на основании которых можно действовать без убытка и даже с выгодой, как, например, справедливость). Из этого следует, что эти невыгодные добродетели не могли возникнуть среди общества, так как еще теперь в самом незначительном, только что возникающем обществе против них слышится протест. Это добродетели людей неравных по положению, изобретенные более сильными, отдельными лицами, добродетели повелителей, за которыми скрывается задняя мысль: "Я достаточно могуч, чтобы согласиться на явный убыток, — это доказательство моего могущества", — т. е. это добродетели, родственные высокомерию.

35

Казуистика пользы. — Не было бы казуистики нравственности, если бы не существовало казуистики выгоды. Часто недостаточно ума самого свободного от предубеждений и самого тонкого, чтобы при выборе предпочитать наибольшую выгоду. В таких случаях, делая выбор, неизбежно испытываешь на душе что-то вроде морской болезни.

36

Становиться лицемером. — Лицемером становится каждый нищий — как и всякий, кто в силу нужды (явной или тайной) избирает себе род деятельности. Нищий далеко не так сильно чувствует нужду, как должен дать это почувствовать другим, если хочет жить подаванием.

37

Род культа страстей. — Для того, чтобы обличить характер всего мирового порядка, вы, мракобесы и философии ехидны, говорите об ужасном характере людских страстей. Как будто везде, где существовали страсти, существовали и ужасы. Как будто на свете всегда должны существовать такого рода ужасы! Небрежным отношением к мелочам, недостаточным самонаблюдением и наблюдением над воспитываемыми вы сами дали возможность страстям дорасти до размеров таких чудовищ, что при одном слове «страсть» на вас нападает ужас! Ведь это было в вашей власти, как теперь в наших руках лишить страсти их ужасающего характера и таким образом лишить их возможности превращаться в бурные, опустошающие потоки. Не следует собственные ошибки раздувать до степени вечных определений рока; будем лучше честно трудиться вместе с другими над вопросом о том, каким образом все людские страсти превратить в радости.

38

Угрызения совести. — Угрызения совести — такая же глупость, как и грызня собакой камня.

39

Происхождение прав. — Права обыкновенно основываются на обычае, обычаи — на заключенном когда-то соглашении. Когда-то обе стороны были довольны результатами сделки, но по лени формально ее не возобновляли и продолжали так жить, как будто договор все возобновлялся, когда же время окутало своим мраком начало происхождения, людям показалось, что это состояние священо, непоколебимо и что каждое последующее поколение обязано строить на нем дальнейшее благосостояние. Обычай, таким образом, превратился в принуждение, хотя он уже не приносил той пользы, ради которой был заключен данный договор. Во все времена слабые видят в этом свою твердую опору; они всегда стремятся увековечить однажды заключенный договор или оказанную им милость.

Значение забвения для нравственного чувства. — Поступки, которыми в первоначальном обществе имелась в виду общая польза, совершались другими поколениями по иным мотивам: или из страха или из почтения к тем, которые их требовали или рекомендовали, или по привычке, потому что люди с детства видели, что так поступали окружающие их, или из желания доставить удовольствие, так как такие поступки везде вызывали радость, сочувствие, или из тщеславия, потому что за них хвалили. Те поступки, в которых основной мотив полезности забывается, называют тогда нравственными, не в силу того, что они совершаются из-за других мотивов, а потому, что сознательная выгода тут отсутствовала. Откуда эта ненависть к выгоде, которая здесь так очевидно отделяет всякое похвальное дело от совершаемого ради пользы? Очевидно, что общество — этот очаг нравственности и всевозможных одобрений нравственных поступков — слишком долго и слишком усиленно боролось с корыстью и самоволием отдельных личностей и вследствие этого любой мотив ценит в нравственном отношении выше пользы. Таким образом, по-видимому, кажется, будто нравственность возникла не из пользы, тогда как первоначально она не что иное, как общественная польза, которой стоило не мало труда пробиться сквозь пользу отдельных лиц и занять более почетное положение.

Наследники нравственных богатств. — В области нравственности имеются также сокровища, передаваемые по наследству: ими владеют кроткие, добродушные, сострадательные и щедрые люди, которые унаследовали от своих предшественников только способ делать добрые поступки, а не разум, первоисточник нравственности. Самую приятную сторону этих наследственных сокровищ составляет то, что ими нужно постоянно делиться, чтобы чувствовать их, и что таким образом они невольно заставляют работать над сокращением границ между нравственно богатыми и бедными, и что всего замечательнее и лучше, — не образовывая при этом какого-нибудь среднего уровня богатства, а стараясь, чтобы все делалось все более и даже чрезмерно богатыми. Из этого выясняется господствующий взгляд на наследственные сокровища нравственности; но мне кажется, что его поддерживают более *in majorem gloriam* нравственности, чем для прославления истины. По крайней мере опыт дает нам примеры, которые если и не служат прямым опровержением, то во всяком случае значительно ограничивают подобное обобщение. Без развитого разума, говорит опыт, без способности тонко чувствовать и без сильной склонности к соблюдению меры наследники нравственных сокровищ становятся их расточителями; в то время как они неразумно следуют своим добрым, благотворительным, примиряющим и успокаивающим стремлениям, окружающий их мир становится все более и более равнодушным, жадным и сентиментальным. Дети этих в высшей степени нравственных расточителей легко делаются — и, к сожалению, в лучших случаях — добрыми, слабыми, ни к чему не годными людьми.

Судья и смягчающие обстоятельства. — "Следует быть честным даже по отношению к черту и ему платить свои долги, — сказал один старый солдат, когда ему подробно рассказали историю Фауста. — "Фауст должен идти в ад!" "О, эти ужасные мужчины, — воскликнула его жена, — разве это возможно! Ведь он ничего не делал дурного, и вся его беда в том, что у него в чернильнице не было чернил; писать кровью действительно грех, но неужто же из-за этого такой красивый мужчина должен гореть в аду?"

Задача обязанности по отношению к истине. — Обязанность есть побудительное чувство, которое мы называем добрым и считаем неоспоримым (о происхождении, о границах и справедливости этого мнения мы не будем говорить). Но мыслитель считает, что все имеет свое происхождение, а все имеющее происхождение подлежит, по его мнению, критике, и таким образом он является не человеком обязанности — а только мыслителем. Будучи таковым, он должен был бы, следовательно, не признавать и не чувствовать и обязанности познавать и высказывать истину. Он спрашивает: откуда она? чего она хочет? и при этом считает, что он имеет право задавать этот вопрос. Но если он и в самом деле при акте познания не считает себя обязанным к нему, то не значит ли это, что его мыслительный аппарат испортился? Но в таком случае для исправления его потребуется, кажется, тот материал, который нужно было отыскать при помощи этого же аппарата. Все это можно выразить так: признавая, что существует обязанность познавать истину, — спрашивается, в каком отношении находится тогда истина ко всякому другому роду нравственного долга? Но не бессмыслица ли это гипотетическое чувство обязанности!

Ступени нравственности. — Нравственность есть, ближайшим образом, средство предохранить общество от распада; кроме того, она служит также для удержания этого общества на известной степени высоты и добра. Она достигает этого с помощью страха и надежды, которые тем суровее, могущественнее и грубее, чем сильнее в нем стремление к прежнему обособлению личности.

Здесь допускаются самые ужасные угрожающие средства, пока не действуют более мягкие и кроткие, и оба вышеупомянутые способа вполне достигают своей цели. Следующей ступенью нравственности и, следовательно, средством к достижению известной цели служат повеления божества; еще высшей ступенью повеления абсолютного чувства обязанности, формулируемого словами: "ты должен". Это все еще обтесанные, но широкие ступени нравственной лестницы, потому что люди еще не умеют ступать по более тонким и узким ступеням. Затем следует нравственность расположения, вкуса и, наконец, нравственность рассудка, которая чужда всем перечисленным способам устрашающей морали, но которая ясно выказала свои преимущества, когда человечество в продолжение многих лет не имело никакой другой нравственности.

45

Нравственность сострадания в устах фанатиков. — Все, кто не умеет достаточно сдерживать себя и не знает нравственности как постоянного проявления и в большом, и в малом самоукрощения и господства над своими желаниями, все они невольно делаются приверженцами добрых, сострадательных, благотворительных побуждений, т. е. той инстинктивной нравственности, у которой нет головы, но которая вся кажется состоящей из сердца и щедрых на помощь рук. Да, это вполне в их интересе заподозреть нравственность рассудка и признавать действительной только ту, другую нравственность.

46

Клоаки души. — Душа также должна иметь определенные клоаки, куда она могла бы сливать все свои нечистоты: для этой цели одним служат отдельные личности, обстоятельства, сословия, другим — отечество, третьим — весь мир и, наконец, для наиболее тщеславных (я подразумеваю наших милых современных "пессимистов") — сам Юпитер.

47

Один из родов покоя и созерцательности. — Смотри, чтобы твой покой и твоя созерцательность не были похожи на созерцательность собаки, стоящей перед мясной лавкой; страх не пускает ее идти вперед, а жадность мешает вернуться назад, и она пожирает мясо глазами, как бы ртом.

48

Запрещение без объяснения причин. — Запрещение, оснований которого мы не понимаем или не признаем, есть почти слепое приказание не только для тупоголовых, но и для способных к познанию; в этом случае приходится самому нарушить запрещение, чтобы таким образом узнать, для чего оно наложено. Нравственные запрещения пригодны лишь в век подчиненности рассудка; теперь все эти запрещения, предписанные без всяких объяснений, оказали бы скорее вредное, чем полезное действие.

49

Характерная черта. — Какой человек может сказать о себе: я часто презираю, но никогда не ненавижу? В каждом человеке я нахожу что-либо достойное уважения, за что я его и уважаю, а так называемые приятные качества людей мало прельщают меня.

50

Сострадание и презрение. — Открытое сострадание воспринимается как признак презрения, потому что человек, которому оказывается сострадание, перестает через это быть предметом страха для лица, выразившего ему сострадание. Если кто-нибудь перестает делать приятное для тщеславия другого человека, то этим нарушается точка равновесия их взаимных отношений; самое приятное из всех человеческих чувств — это возможность вселять страх в душу другого человека. Поэтому возникает вопрос, вследствие каких причин стали так ценить сострадание? Точно так же является загадкой, почему хвалят бескорыстных людей: в первобытные времена их бы презирали или боялись, как замышляющих нечто недоброе.

51

Возможность для человека умяляться. — Нужно стать так же близко к цветам, травам и бабочкам, как ребенок, который немногим выше их. Мы, взрослые, слишком переросли их и должны поэтому опускаться до них. Мне кажется, что цветы ненавидят нас, когда мы высказываем им свою любовь. Кто хочет быть участником всего хорошего, должен уметь подчас становиться маленьким.

52

Из чего состоит совесть. — Содержание нашей совести составляет все, что во времена нашего детства постоянно, без всякого объяснения причин, требовали от нас люди, внушавшие нам страх или уважение. Совестью пробуждается в нас то чувство долга (это можно делать, а того нельзя), которое не спрашивает: почему я должен это делать. Во всех случаях, когда, совершая что-нибудь, задаются вопросы: «почему» и "для чего", человек поступает без участия совести; хотя это не значит, что он действует вопреки ей. Вера в авторитеты есть источник совести; следовательно, она является не голосом высшей справедливости в душе человека, а отголоском мнений одних людей в другом человеке.

53

Победа над страстями. — Человек, одержавший победу над своими страстями, вступает в обладание плодотворнейшей почвой, подобно колонисту, сделавшемуся властелином над лесами и болотами. Следующей необходимой задачей для него является посев семян добрых духовных дел на покоренной почве страстей. Сама победа над страстями служит только средством, а не целью; если же она рассматривается иначе, то вскоре на расчищенной, жирной почве всходят сорная трава и всякая чертовщина, разрастающиеся еще гуще и сильнее, чем прежде.

54

Судьба — как цель служения. — Все так называемые практические люди несут свое служение по приказанию судьбы; только она делает их практичными, все равно, служат ли они себе или другим. У Робинзона был слуга получше Пятницы: таким слугою был он сам.

55

Опасность слова для духовной свободы. — Каждое произнесенное слово влияет на свободное мнение другого.

56

Дух и скука. — Изречение: "Мадьяр слишком ленив, чтобы скучать", заставляет призадуматься. Только наиболее развитые и деятельные животные способны скучать.

57

В обращении с животными. — Происхождение нравственности можно проследить и в нашем обращении с животными. Везде, где польза или вред не принимаются нами во внимание, мы не испытываем ни малейшего чувства ответственности; например, мы убиваем и калечим насекомых или оставляем им жизнь, большею частью ничего об этом не думая. Мы так грубы, что даже наша заботливость о цветах и маленьких животных часто бывает для них смертельна: мы же, имея в виду наше удовольствие, и не думаем считаться с этим. Сегодня, например, самый жаркий день в году, великий праздник для маленьких насекомых; они жужжат и копошатся вокруг нас, а мы без всякого намерения, просто не обращая на них никакого внимания, давим здесь червяка, а там крылатого жучка. Если же звери приносят нам вред, то мы всевозможными способами стремимся истребить их, и средства для этого часто бывают даже слишком жестоки, хотя мы этого собственно не желаем: это — жестокость бессознательная. А если они приносят нам пользу, мы делаем их своей добычей, пока более дальновидная предусмотрительность не научит нас, что животные щедро вознаграждают за лучшее обхождение с ними, а именно за уход и разведение. Тогда только появляется ответственность. Жестокое обращение с домашними животными воспрещается; человек возмущается, видя, как мучат корову, и это соответственно той примитивной общественной нравственности, которая видит опасность для общей пользы в отступлении от общего правила. Как каждый член общества при виде чьего-нибудь проступка боится косвенного вреда и для самого себя, так и здесь, мы боимся за доброкачественность мяса, за успехи земледелия, за средства передвижения, когда видим дурное обращение с домашними животными. Кроме того, человек жестоко обращающийся с животными, возбуждает подозрение, что он в состоянии так же жестоко относиться к людям

слабым, неравным по положению или неспособным к мести. Такой человек считается неблагородным, лишенным утонченной гордости. Из всего этого возникает целый цикл нравственных суждений и восприятий, больше всего порождаемых суеверием. Некоторые звери своими взглядами, звуками, осанкой заставили человека обращать на себя особое внимание, и многие религии, смотря по обстоятельствам, учат, что в животных вселяются души людей и божеств; поэтому последователи этих религий при обращении вообще со всеми животными проявляют более благородную предусмотрительность, а иногда даже и почтительный страх. Даже по исчезновении этого суеверия пробужденные им чувства продолжают действовать, зреть и приносить плоды.

58

Новые актеры. — Самая обычная вещь среди людей — это смерть; второй является рождение, потому что из умирающих не все родится; затем следует брак. Но эти три маленькие трагикомедии при каждом из своих бесчисленных представлений всегда исполняются новыми актерами и поэтому не перестают иметь внимательных зрителей, тогда как можно было бы ожидать, что вся публика земного театра давно уже с тоски перевешается на деревьях. Но тут все дело в новых актерам, а не в самой пьесе.

59

Что такое "obstinat"? — Кратчайший путь — не самый прямой, а тот, при котором попутные ветры вздувают паруса, говорит наука мореплавания. Не следовать этому правилу — значит быть «obstinat», и к твердости характера тут примешивается глупость.

60

Слово «тщеславие». — Досадно, что некоторые слова, смысл которых мы, моралисты, к сожалению, не можем еще уяснить, носят на себе печать как бы некоторого рода нравственной цензуры еще с тех времен, когда ближайшие и естественнейшие побуждения человека считались еретическими. Так, например, основное убеждение, что на волнах общественного моря мы или терпим крушение или же пользуемся благоприятным фарватером больше от того, чем мы кажемся, а не каковы мы в действительности, — это убеждение, которое должно было служить кормилом всех поступков по отношению к обществу, клеймится самым простым словом «тщеславие», "vanitas"; и таким образом одному из самых важных и содержательных понятий придается название, характеризующее его как пустое и ничтожное; великое обозначается определением, уменьшающим его значение и даже доводящим его до карикатуры. Делать нечего, и нам приходится употреблять эти слова, но при этом затыкать уши от нашептывании старых привычек.

61

Фатализм турок. — Фатализм турок имеет ту коренную ошибку, что он противопоставляет человека фатуму, как две совершенно различные вещи; человек, говорят они, может противиться фатуму, может пытаться изменить его, хотя в конце концов рок всегда одерживает победу; поэтому разумнее всего отдаться на волю Провидения, т. е. жить как хочется. На самом же деле каждый человек представляет собою частицу судьбы; когда он, как выше сказано, думает противиться фатуму, то в этом сказывается нечто роковое; борьба эта только воображаемая, в действительности же это не более как безропотное подчинение року, так как сама борьба уже заранее определена им. Страх, внушаемый многим учением о несвободе воли, есть страх перед фатализмом турок; они думают, что человек безропотно склонит голову перед неизбежностью судьбы и со сложенными руками будет взирать на будущее, не считая возможным ничего в нем изменить, или же сбросить удила, сдерживающие его страсти, так как в заранее предопределенном он ничего не может ухудшить. Глупости людей точно так же составляют частицы фатума, как и все умное в них; и самый страх перед верою в рок есть сам по себе роковой. Ты сам, несчастный трус, представляешь собою воплощение той непобедимой Мойры, которая царила даже над богами: все, что бы ни случилось, проклятия или благословения, будут во всяком случае для тебя оковами, которых не избежит и самый сильный; в тебе предречена вся будущность человечества, и тебе не поможет твой ужас перед самим собою.

62

Защитники дьявола. — "Только собственные несчастья делают людей благоразумными и только чужие делают их добрыми", так гласит та странная философия, которая всю нравственность выводит из сострадания, а разум из обособления человека; этим она, сама того не подозревая, сделалась защитницей всего существующего зла, потому что для сострадания нужно страдание других, а для обособленности — презрение к людям.

Нравственные маски характеров. — В те времена, когда характерные особенности сословий считались непоколебимо твердыми, подобно самим сословиям, моралисты впали в заблуждение, считая их нравственную маскировку характера за непреложную и изображая их таковыми. Так, Мольер понятен как современник общества Людовика XIV; в наше же переходное время, полное неопределенности, он казался бы гениальным педантом.

Самая доблестная добродетель. — В первую эпоху высшего развития человечества самой доблестной добродетелью считалась храбрость, во вторую справедливость, в третью — умеренность, в четвертую — мудрость. Какова же та эпоха, в которой живем мы? В какой живет каждый из нас?

Что необходимо прежде всего. — Человек, который из-за своего порывистого гнева, желчности и мстительного характера не хочет стать властелином своих желаний, а пытается властвовать над чем-нибудь другим, так же глуп, как земледелец, разбиивший свои поля у бурного потока и не помышляющий защищаться от него.

Что такое истина? — Шварцерт (Меланхтон). Люди часто проповедуют свою веру, когда уже лишились и ищут ее на всех перекрестках, и притом проповедуют совсем неплохо. Лютер. Твоими устами сегодня глаголют сами ангелы, брат. Шварцерт. Но ведь это мысль твоих врагов о тебе. Лютер. В таком случае это ложь, и притом дьявольская.

Привычка к контрастам. — Обыкновенное неточное наблюдение видит везде в природе контрасты (как, напр., тепла и холода), тогда как никаких контрастов нет, а существует только различие степеней. Эта дурная привычка заставила нас по таким же контрастам распределить и внутреннюю сторону природы, духовно-нравственный мир. Страшно много скорби, жестокости, отчуждения, холодности проникло в сферу человеческих чувств в силу того, что люди видели контрасты там, где существуют только постепенные переходы.

Можно ли прощать? — Как можно вообще прощать, когда люди не ведают, что творят! Тут нечего прощать. Но разве человек знает когда-нибудь вполне ясно, что он делает? И если это по меньшей мере остается вопросом, то очевидно, что людям нечего прощать вообще, и оказывать милость есть вещь невозможная для разумного человека. Наконец, если бы злодеи и в самом деле знали, что они делают, то мы тогда только имели бы право прощать им, если бы нам была дана власть обвинять и судить. А такой власти мы не имеем.

Стыд, вошедший в привычку. — Почему мы испытываем стыд, когда нам делают что-нибудь хорошее, чего мы, как говорят, "не заслужили"? Нам кажется при этом, будто мы ворвались в такую область, куда нам не следовало проникать и откуда нас нужно вывести, что мы проникли в святилище или даже в святая святых, переступить порог чего наша нога не имеет права. Но по ошибке других мы все-таки попали туда, и вот нас охватывает то страх, то почтительное уважение, то смущение, и мы не знаем, бежать ли нам или наслаждаться блаженными минутами и их благодатными дарами. Во всяком стыд чувствуется, что оскверняется или может оскверниться что-то таинственное; стыд же вызывается всяким благодеянием. Принимая таким образом во внимание, что мы, собственно говоря, никогда ничего "не заслуживаем", можно с точки зрения мистического взгляда на вещи сказать, что стыд является обычным чувством, так как высшее существо никогда не перестает оказывать людям своей милости и благоволения. Но, оставив в стороне это мистическое толкование, обычное чувство стыда все-таки возможно даже для людей, совершенно не признающих Бога, твердо убежденных в безответственности всех поступков и незаслуженности различных благ. Если к ним относиться, как будто бы они заслуживают то или другое, то им покажется, что они попали в мир каких-то высших существ, которые вообще что-то заслуживают, которые свободны и могут нести ответственность за свои желания и поступки. Если кто-

нибудь говорит им: "вы это заслужили", то им слышится в этом обращении: "ты не человек, а высшее существо".

70

Самый неопытный воспитатель. — У одного человека все его добродетели возросли на почве его духа противоречия, у другого — на его неспособности говорить «нет», т. е. на особенности его духа со всем соглашаться; третий возрастил свою нравственность на почве одинокой гордости, четвертый — на своем стремлении к общительности. Представим себе теперь, что случайные обстоятельства и неопытные воспитатели были причиной того, что у всех этих четырех людей семена добродетели были посеяны не на природной их почве, способной дать самую богатую и обильную жатву: в таком случае нравственность не привилась к ним, и они сделались слабыми, безрадостными людьми. Кто же оказался бы в таком случае самым неопытным воспитателем и самым злым роком этих четырех людей? Нравственный фанатик, думающий, что добро может проистекать только из добра и возрастает лишь на почве добродетели.

71

Предусмотрительный способ выражения. — А. Если бы все это знали, то большинству это было бы вредно. Ты сам называешь эти мысли опасными для злонамеренных людей и все-таки решаешься открыто высказывать их? В. Я пишу так, что ни чернь, ни *populi*, ни люди всевозможных партий не могут читать меня. Следовательно, эти мысли никогда не будут открытыми для всех. А. Как же ты пишешь тогда? В. Так, что в словах моих нет ни пользы, ни приятности для людей всех этих трех разрядов.

72

Посланники богов. — Сократ также считал себя посланником богов; но я не знаю, какой поток аттической иронии и остроумия нужен был ему для того, чтобы смягчить этот роковой и дерзкий взгляд. Он проповедует без всякой мысли об этом посланничестве; его картины, его образы, напр., об оводе и лошади, слишком реалистичны и не согласуются с притязанием на эту миссию; его задача, как он представлял ее себе, заключалась в том, чтобы всевозможными способами испытывать, насколько его верховное божество вещает истину, а это бесспорно указывает на смелое и свободное отношение Сократа к его богам. Такое испытание богов представляет один из тончайших, когда-либо придуманных компромиссов между мистикой и свободомыслием. Теперь мы более не нуждаемся в таком компромиссе.

73

.....

74

.....

75

Святая ложь. — Ложь, с которой на устах умер Арий (*Paete, non dolet*), затемняет все правды, когда-либо произнесенные умирающими. Это единственная святая ложь, ставшая знаменитой.

76

.....

77

Что более преходящее, дух или тело? — В правовых, нравственных и религиозных вопросах все наиболее внешнее, поверхностное, напр., обычаи, обряды, церемонии являются наиболее долговечными: это — Тело, в которое влагается вечно новая Душа. Культ, как определенный текст, постоянно заново объясняется; понятия и восприятия — это переливающаяся жидкость, обычай же твердая основа.

78

Вера в болезнь есть болезнь. — Вера в мистические спасительные средства от известных недугов мало-помалу

потрясена до самого основания; но все еще сильна в нас вера в те недуги, от которых придуманы были эти средства.

79

Слова и писания мистиков. — Если в стиле и в духе выражения мистика уже не виден религиозный человек, то не нужно относиться серьезно к его мнениям о религии. Если она даже в нем бессильна, если ему, как показывает его стиль, не чужда ирония, надменность, злоба, ненависть, так же как самому нерелигиозному человеку, то — тем более бессильна она внушить веру слушателям и читателям! Словом, такая мистика послужит только к тому, чтобы сделать и слушателей и читателей еще менее религиозными.

80

Опасность олицетворения. — Люди более склонны держаться за свои мысленные представления, чем даже за наиболее дорогие существа; поэтому они охотнее жертвуют собою государству и идеалу — насколько он остается продуктом их собственной мысли и не представляет слишком реального образа.

81

Светское правосудие. — Светское правосудие возможно было бы освободить от цепей учением о полной неответственности и невинности каждого человека: такая попытка была уже сделана — как раз на основании противоположного учения о полной ответственности и греховности каждого. Все люди не без вины; нет невинных. Но виновные не могут быть судьями себе подобных: так решает справедливость. Все судьи мира, следовательно, так же виновны, как и осужденные ими, и маска их невинности кажется лицемерной и фарисейской.

82

Рисовка при удалении. — Желая оторваться от партии или от религии считает необходимым начать их оспаривать. Но это с его стороны высокомерие. Нужно лишь, чтобы он ясно видел, что связывало его до сих пор с этой партией или религией и что теперь уже не существует, какие намерения влекли его туда и какие теперь влекут к чему-нибудь другому. Мы не присоединяемся к партии или религии на основании строгих выводов из познания: поэтому мы не должны рисоваться этим и при нашем удалении.

83

.....

84

.....

85

.....

86

Сократ. — Если прогресс пойдет должным путем, то настанет время, когда люди, для своего нравственного и умственного развития, станут все охотнее прибегать к меморабилиям Сократа, и тогда Монтень и Гораций будут служить руководителями для познания вечного и наипростейшего мудреца, Сократа. К нему ведут все пути самых разнообразных философских систем с их различными взглядами на жизнь, которые, в сущности, происходят от различия темпераментов, хотя устанавливаются разумом и привычкой и имеют все одну цель: радость бытия и наслаждение своим я; из этого, казалось бы, можно было заключить, что самое оригинальное в Сократе — это его причастность всем темпераментам. К тому же Сократ имел то преимущество, что обладал юмором серьезного человека и той плутовитой мудростью, которая является источником лучшего душевного состояния человека. В довершение всего он обладал большим умом.

87

О необходимости хорошо писать. — Время ораторства миновало, потому что прошло время городской культуры. Крайняя граница, допускаемая Аристотелем для города — чтобы герольд мог быть услышан всей городской общиной — эта граница так же мало интересует нас, как и сама городская община, так как мы желаем быть поняты и услышаны не только всем народом, но и всеми народами. Поэтому каждый образованный европеец должен уметь все лучше и лучше писать: это необходимо даже для немцев, которые считают искусство скверно писать своей национальной привилегией. Но лучше писать — значит и лучше думать, всегда отыскивая нечто достойное передачи и действительно умея передавать так, чтобы можно было переводить на языки соседей; быть доступным пониманию тех иностранцев, которые изучают наш язык; содействовать тому, чтобы все хорошее стало общим благом, и людям свободным все было открыто; наконец, подготавливать тот отдаленный порядок вещей, когда добрым европейцам дастся в руки их великая задача: руководство и наблюдение за культурой всего земного шара. Кто проповедует противоположное, т. е. что не следует заботиться об умении хорошо писать и читать (оба дара и развиваются и хиреют одновременно), тот указывает народам путь ко все большему и большему национализму, усиливает болезнь нашего века и является врагом добрых европейцев, врагом свободных мыслителей.

88

Учение о лучшем слоге. — Учение о слоге может когда-нибудь стать учением о том, как найти выражение, посредством которого всякое настроение передавалось бы читателю и слушателю; затем — учением о том, как найти выражение для самого желательного настроения человека, передать которое также всего желательнее; настроение человека, растроганного до глубины души, духовно-радостного, светлого и искреннего, победившего страсти. Это будет учением о лучшем слоге, соответствующим хорошему человеку.

89

О внимании к расположению фраз. — Построение фразы указывает на то, устал ли автор; отдельное выражение может еще быть сильно и удачно, потому что оно было найдено раньше, когда мысль впервые блеснула у автора. Это неоднократно встречается у Гете, который часто диктовал, когда чувствовал усталость.

90

Уже и еще. — А: Немецкая проза еще очень молода: Гете считает Виланда ее отцом. В: Так молода и уже так безобразна! С: Но — насколько мне известно — епископ Ульфиль уже писал немецкой прозой; следовательно, она существует около полутора тысячи лет. В: Так стара и все еще так безобразна!

91

Самобытно-немецкое. — Немецкая проза, которая ценится как самобытный продукт немецкого вкуса и которая в самом деле составила не по одному образцу, могла бы горячему защитнику будущей самобытной немецкой культуры дать указание на то, какой вид будет иметь настоящая немецкая одежда, немецкая общительность, немецкое убранство комнат. Один немец, долго думавший над этим, в ужасе воскликнул: "Но, Боже мой, мы, может быть, уже имеем эту самобытную культуру — только никто об этом не говорит охотно!"

92

Запрещенные книги. — Никогда не нужно читать, что пишут заносчивые всезнайки и бестолковые люди, обладающие отвратительнейшей из всех привычек — привычкой к логическим парадоксам: они применяют логические формы именно там, где все, в сущности, грубая импровизация, построенная на воздухе. ("Итак" значит у них: "глупый читатель, не для тебя существует это «итак» а для меня"; на это следует ответ: "писатель-осел, зачем же ты пишешь?").

93

Выказывать ум. — Каждый человек, желающий выказать свой ум, дает тем самым понять, что он в избытке одарен противоположным качеством. Дурная привычка остроумных французов придавать своим лучшим выдумкам оттенок неряшества происходит от их желания казаться богаче, чем они в действительности; они, как бы утомленные тем, что постоянно награждают из переполненных сокровищниц, дарят неохотно.

94

Немецкая и французская литература. — Несчастье немецкой и французской литературы, за последние сто лет, кроется в том, что немцы слишком рано покинули школы французов, а французы, впоследствии, слишком рано стали посещать школы немцев.

95

Наша проза. — Ни один из современных культурных народов не имеет такой плохой прозы, как немцы; и когда умные, избалованные французы говорят: нет "немецкой прозы", то нам не следует сердиться, так как это, в сущности, гораздо любезнее того, что мы заслуживаем. Если вдуматься в причины этого явления, то придешь к удивительному заключению, что немец знает только импровизационную прозу, о другой же не имеет никакого понятия. Ему совершенно непонятно, когда итальянец говорит, что проза настолько же труднее поэзии, насколько для скульптора изображение нагой красоты труднее красоты одетой. Над стихами, образами, рифмой и размером нужно много работать — это понимает и немец и потому не придает особенной цены экспромптам в стихах. Но трудиться над страницей прозы, как над статуей, кажется ему невероятным.

96

Высокий стиль. — Высокий стиль возникает, когда прекрасное одерживает победу над необычайным.

97

Уклонение. — Нельзя понять, в чем заключается у выдающихся умов утонченность их выражений и оборотов речи, пока не скажешь себе, какими словами посредственный писатель неизбежно выразил бы ту же вещь. Все великие артисты, при управлении своей колесницей, склонны уклоняться, ускользать но не опрокидываться.

98

Нечто в роде хлеба. — Хлеб нейтрализует вкус других блюд, сглаживает его; поэтому он необходим при каждой более продолжительной еде. Во всех художественных произведениях должно быть нечто вроде хлеба, чтобы давать им возможность производить различные впечатления; иначе, если они будут следовать одно за другим без перерыва, без отдыха, то вызовут быстрое утомление и даже отвращение: тогда продолжительное насыщение искусством станет невозможным.

99

Жан Поль. — Жан Поль знал очень много, но не был ученым; он усвоил себе различные приемы искусства, но не был художником; почти все находил удобоваримым, но не находил ни в чем вкуса; свои чувства и свою серьезность он выражал под противным слезливым соусом; он был даже остроумен — но, к сожалению, гораздо меньше, чем желал этого, и поэтому приводит читателя в отчаяние именно своим неостроумием. Вообще, Жан Поль был пестрой, пахучей сорной травой, выросшей за ночь на нежной плодородной ниве Шиллера и Гете: это был спокойный, хороший человек, но все же являлся роковым стеснением в халате.

100

Уметь оценивать и противоположное. — Чтобы насладиться произведением прошлого времени, как им наслаждались современники, нужно обладать господствовавшим тогда вкусом, с которым это произведение и боролось.

101

Писатель, напоминающий спирт. — Некоторые писатели представляют не дух и не вино, а спирт: они могут воспламениться и тогда греют.

102

Чувство, как посредник. — Чувство вкуса, как истинное посредствующее чувство, часто склоняет другие чувства к своим взглядам на вещи и внушает им свои законы и привычки. За столом можно получать материал для объяснения самых сокровенных тайн искусства: стоит только наблюдать, что по вкусу, когда по вкусу, чем и как долго по вкусу.

Лессинг. — Лессинг имеет одно чисто французское качество, и к тому же он как писатель усерднее всех посещал школу французов: он умеет хорошо расставить и расположить свои вещи в витрине. Без этого настоящего искусства его отдельные мысли, как и их объекты, остались бы темны, хотя в общем потеря от этого была бы невелика. Его искусству многие учились (в том числе последние поколения немецких ученых), но еще большее количество людей наслаждались им. Правда, последователи его не должны были бы, как это часто случалось, заимствовать его неприятную манеру писать: смесь сварливости и прямоты. В своих мнениях о Лессинге как о «лирике» теперь все согласны; а как о «драматурге» — придут со временем к соглашению.

Нежелательные читатели. — Как мучат автора те храбрые читатели с тучной, неповоротливой душой, которые, наталкиваясь на что-нибудь, всегда опрокидываются и каждый раз при этом ушибаются.

Мысли поэта. — Настоящие мысли истинных поэтов являются всегда как египтянки под покрывалом, из-под которого виднеются только глубокие очи мысли. Мысли поэта вообще не так ценны, как их считают: в оценку их входит плата за покрывало и за собственное любопытство.

Решать просто и с пользой. — Переходы, исполнение, пеструю игру аффектов — все это мы дарим автору, потому что все это несем с собой и предоставляем в пользу его книги, если он сам для нас чем-нибудь полезен.

Виланд. — Виланд писал по-немецки лучше, чем кто-либо, и при этом испытывал истинное наслаждение и неудовлетворенность мастера (его переводы писем Цицерона и Лукиана — лучшие немецкие переводы); но его мысли не оставляют нам пищи для размышления. Мы с трудом переносим его веселые нравоучения, как и его веселые безнравственные выходки: и те и другие стоят друг друга. Люди, наслаждавшиеся ими, были, может быть, лучше нас, — но им нужен был такой писатель, потому что им не доставало нашей живости. Гете не был необходим немцам, и потому они не умеют им пользоваться. Доказательством тому могут служить наши выдающиеся государственные люди и художники: ни для кого из них Гете не был и не мог быть наставником.

Редкие праздники. — Выразительная сжатость, спокойствие и зрелость найдя эти качества у автора, остановись и праздный долгий праздник среди пустыни: не скоро выпадет тебе такой счастливый случай.

Сокровища немецкой прозы. — Если исключить произведения Гете и в особенности его "Беседы с Экерманом" — самую лучшую из всех немецких книг, то что же, собственно говоря, останется нам еще из немецкой прозы такого, что можно было бы перечитывать не раз? Афоризмы Лихтенберга, первый том жизнеописания Юнга-Стилинга, "После лета" Адальберта Штифтера и "Люди Сельдвилы" Готфрида Келлера — вот пока и все книги, достойные внимания.

Литературный и разговорный слог. — Искусство писать прежде всего требует суррогата для тех способов выражения, которые находятся в распоряжении говорящего, т. е. мимики, ударения, тона, взглядов. Поэтому литературный язык сильно отличается от разговорного и представляет больше трудностей, так как не уступает ему в выразительности, при гораздо меньших средствах к ее достижению. Демосфен произносил свои речи не в том виде, как мы их читаем, — он переработал их для чтения. Речи Цицерона должны быть «демосфенизированы» для этой цели, а то от них отдает римским форумом больше, чем читатель в состоянии это вынести.

Осторожность при цитировании. — Юные авторы не знают, что любое удачное выражение, любая удачная мысль — хороши только в совокупности с другими, подобными им, выражениями и мыслями, что превосходная цитата может обратить в ничто целые страницы, даже целую книгу. Она как бы предостерегает читателя, говорит ему: "Будь внимателен: я — драгоценность, а все остальное рядом со мной — олово, простое, жалкое олово". Всякое слово, всякая мысль должны находиться, так сказать, в подходящем для них обществе. Это — первое правило изящного слога.

112

Как можно высказывать ошибочные суждения? — Можно спорить относительно того, в каком случае заблуждения приносят более вреда, — в том ли, когда они высказываются в неудачной форме, или в том, когда выдаются за непреложные истины. Разумеется, что в первом случае они вдвое вреднее, и их труднее выбить из головы, но, с другой стороны, действие их не так верно, как во втором случае: они менее заразительны.

113

Ограничение и увеличение. — Гомер ограничивал, уменьшал количество материала, но зато давал широкое развитие отдельным сценам. Так же точно постоянно поступают позднейшие трагики: каждый из них, сравнительно со своим предшественником, берет все меньшее и меньшее количество материала, но каждый в своем ограниченном, огороженном садике добивается наиболее роскошной полноты цветов.

114

Литература и мораль поясняют одна другую. — На греческой литературе можно проследить, какая сила способствовала развитию греческого духа, какими путями оно шло и в чем была его слабость. Ход умственного развития дает нам представление и о развитии греческой морали, как и вообще всякой морали. Мы видим, что мораль вначале была принудительной, суровой, затем постепенно смягчалась, и люди стали находить удовольствие при совершении известных поступков, при наличии известных форм и условий жизни; и в них явилось стремление сохранять их. Затем жизнь постепенно становится ареной для соревнования, наступает пресыщение, являются новые поводы для борьбы и для честолюбия, воскресают старые идеалы. Жизненная драма повторяется на глазах зрителей; они чувствуют себя утомленными ее зрелищем, и им кажется, что жизненный путь весь пройден... Тогда наступает остановка, передышка; источники живой воды теряются в песках. Это конец или по крайней мере — одно из окончаний.

115

Какие местности нравятся дольше всего. — Эта местность отличается многими чертами, достойными картины, но я не могу ясно формулировать производимого ею впечатления, так как в целом она остается для меня непонятной. Я замечаю, что все ландшафты, долго мне нравящиеся, при всем их разнообразии представляют из себя схему простых геометрических линий. Ни одна местность не может произвести художественного впечатления, если в ней отсутствует подобного рода математический субстрат. Правило это, может быть, применимо и к людям.

116

Чтение вслух. — При умении читать вслух предполагается и умение излагать прочитанное, причем приходится употреблять и более бледные краски, которые, однако, необходимо уметь распределять в строгом соотношении к той главной, ярко рисующейся картине, которая проносится перед нашим умственным взором; и в этом искусстве надо быть очень сильным.

117

Драматическое чувство. — Кто не обладает четырьмя наиболее утонченными чувствами в искусстве, тот старается все уяснить себе посредством грубого пятого чувства, которое и есть драматическое чувство.

118

Гердер. — Гердер совсем не то, чем он представлялся (и чем он сам воображал себя): он совсем не великий мыслитель и изобретатель и не представляет из себя плодородной девственной почвы с богатым запасом

непочатых сил. Но чутье его в высшей степени замечательно: он находит первые плоды каждого времени года и начинает срывать их раньше, чем другие, которые вследствие этого воображают, что он и вырастил их. Ум его всегда витал между светом и мраком, между старым и новым; он всегда, как подкрадывающийся к дичи охотник, первый оказывался там, где появлялись признаки переходного состояния, колебания, потрясений, где начиналась внутренняя работа жизни. Ему сообщалось свойственное весне оживление, но сам он не был весной!.. Порою, он, этот честолюбивый пастор, который так охотно сделался бы духовным папой своего времени, сознавал это, хотя и не хотел верить своему сознанию!.. Причина его страдания лежала в том, что он долгое время считал себя претендентом на венец в различных областях духа; он стремился даже к всемирному владычеству и имел приверженцев, веривших в него, к числу которых принадлежал и молодой Гете. При раздаче царственных венцов на его долю не досталось ни одного. Кант, Гете, затем первые настоящие немецкие историки и филологи отняли у него то, что он желал бы удержать, как принадлежащее ему, но что в тайной глубине своей души даже и не считал своим. И именно в те моменты, когда им овладевало сомнение в себе, он набрасывал на себя мантию величия и вдохновения: она слишком часто служила ему лишь покровом, помогавшим ему скрывать многое, утешавшее его и поддерживавшее в нем самообольщение. Он действительно обладал известной долей огня и вдохновения, но честолюбие его не довольствовалось этим. Оно побуждало его нетерпеливо раздувать пламя, которое только вспыхивало легким огоньком, трещало и дымило — слог его едва вспыхивает, но трещит и дымит, — тогда как ему хотелось раздуть его в яркое пламя, которое, однако, не разгоралось! Для него не было места за трапезой настоящих творцов, а его честолюбие мешало ему довольствоваться скромным положением в ряду наслаждающихся. Он был беспокойным гостем, который только прикасался к духовным трапезам, собранным немцами со всех концов света. Гердер никогда не знал настоящего насыщения и настоящей радости; в довершение всего он слишком часто бывал болен. Тогда к одру его нередко присаживалась нужда, и лицемерие навещало его. В нем было что-то болезненное, несвободное, и ему более, чем кому-либо из так называемых наших классиков, чужда простая, честная мужественность.

119

Запах слов. — Всякое слово имеет свой запах; существует гармония и дисгармония запахов, как и слов.

120

Изысканный слог. — Искусственный слог есть оскорбление для любителя изысканного слога.

121

Клятва. — Я не стану больше читать автора, если замечу, что он преднамеренно хотел написать книгу; я буду читать только тех авторов, идеи которых невольно составили книгу.

122

Художественная условность. — Гомер на три четверти состоит из условностей; то же самое можно сказать и об остальных греческих художниках, которые не отличались современной страстью к оригинальности. Условное несколько не утешало их, — наоборот, служило связью между ними и слушателями. Условные положения были средством сделать художественное произведение понятным для слушателей; это был с трудом заученный язык, которым художник выражал свои мысли. В особенности, если он, как греческий поэт и музыкант, желает одерживать победы каждым своим произведением — так как он привык к публичному состязанию с одним или двумя противниками — то непременным условием победы должно быть понимание со стороны аудитории, а это возможно лишь при соблюдении условных правил. Если художник изобретает на свой риск и страх нечто помимо общепризнанных условностей, то он в лучшем случае, когда изобретение его имеет успех, создает только новую условность. Можно считать обычным явлением, что все оригинальное возбуждает изумление, даже преклонение, но редко бывает понято. Упорно избегать условных правил значит не желать быть понятым. На что же в таком случае указывает нам современная страсть к оригинальности.

123

Аффектация учености у художников. — Шиллер, подобно другим немецким писателям, думал, что если человек обладает умом, то это дает ему право писать импровизации на всевозможные трудные предметы. Его прозаические сочинения служат во всех отношениях образцом того, как именно не следует трактовать научные вопросы эстетики и морали; притом, сочинения эти представляют опасность для юных читателей, так как последние, изумляясь Шиллеру, как поэту, не отваживаются низко судить о нем, как о мыслителе и прозаике. Искушение, которому так легко поддается художник и которое заставляет его вступать в запретную область,

чтобы оставить и свой след в науке — причем самый способный наименее всего удовлетворяется своим ремеслом и своей мастерской — это искушение увлекает художника так далеко, что весь мир узнает что, чего ему не следовало знать, а именно, что мыслительная область писателя-художника очень тесна и что в ней нет никакого порядка. Да почему бы ей не быть такой? Ведь он не живет в ней!.. Если склады его знаний частью пусты, частью наполнены разным хламом — то почему бы и нет? В сущности, это даже пристало для художника-ребенка... он слишком неприспособлен для усвоения самых элементарных научных приемов, не затрудняющих даже начинающих, — и этого ему нечего стыдиться! Зато он нередко обнаруживает немалое искусство в умении подражать всем ошибкам, всем научным промахам, неизбежным в сословии ученых, искренно веря, что если это и не самая суть дела, то по крайней мере кажется таковой. Смешнее всего в произведениях подобных художников то, что они, сами того не желая, пародируют ученых и нехудожественные натуры. Но раз он художник и только художник, то его положение относительно науки и не может быть ничем иным, как пародией.

124

Идея Фауста. — Ничтожная швея обольщена и становится несчастной; виновник несчастья — великий ученый всех четырех факультетов. Да разве это могло произойти естественным путем? Нет, разумеется, нет! Без помощи черта великий ученый был бы не в состоянии совершить этого. — Действительно ли это величайшая немецкая "трагическая идея", как полагают немцы? Но для Гете и такая идея казалась чересчур страшной. Его мягкое сердце побудило его перенести после смерти молоденькую швейку, "эту прекрасную, единственный раз забывшуюся душу", поблизости к святым. Даже великого ученого — "прекрасного человека" с "туманными стремлениями", и того удалось ему вовремя переселить на небо, сыгравши в решительный момент злую шутку с дьяволом; там на небе любящие сердца снова встречаются. — Гете выразился как-то, что его натура слишком миролюбива для настоящей трагедии.

125

Существуют ли немецкие классики? — Сент-Бев заметил однажды, что слово классик как-то странно звучит в некоторых литературах. Ну, кто может, например, говорить о немецких классиках?.. Что скажут на это наши немецкие книгопродавцы, которые готовы к имеющимся уже налицо пятидесяти немецким классикам, которых мы должны уже признавать, прибавить еще пятьдесят новых? Кажется, достаточно пролежать тридцать лет мертвым в могиле, чтобы потом вдруг совершенно неожиданно при трубном звуке воскреснуть в звании классика! И это в то время, когда у народа, имеющего шесть великих родоначальников литературы, пятеро уже устарели или на пути к этому; причем этот народ в наше время даже не считает нужным стыдиться этого, так как вышеупомянутые пятеро должны были отступить перед современными силами. — Взвесьте это по справедливости! Из числа их, как я уже раньше упоминал, надо исключить Гете. Гете принадлежит к литературе более высокой, чем национальные литературы; поэтому нельзя говорить, что величие его еще живет в народе или находится в периоде возникновения или уже устарело. Он жил и живет для немногих; для большинства он не что иное, как труба тщеславия, в которую время от времени трубят на немецкой территории. Гете не только прекрасный и великий человек, Гете — целая культура; в немецкой истории он представляет случайное явление. Кто, напр., из немецких политиков за последние семьдесят лет в состоянии был привести хотя бы одну цитату из Гете? Тогда как отрывки из Шиллера и даже отрывочки из Лессинга все же были в большом употреблении! Клопшток самым почетным образом устарел еще при жизни и притом так основательно, что никто вплоть до настоящего дня не относился серьезно к его глубокомысленному сочинению последних лет — Республике ученых. Несчастье Гердера состояло в том, что его сочинения казались или слишком новыми или слишком устаревшими. Для утонченных и сильных умов (как, напр., Лихтенберг) даже главное сочинение Гердера — его "Мысли к истории человечества" — казалось устаревшим при первом его появлении. Виланд, который умел широко жить и давал жить другим, поспешил как умный человек умереть раньше, чем прекратилось его влияние. Лессинг, пожалуй, живет еще и поныне, но только среди юных, самых юных ученых. Шиллер же из рук юношей перешел в руки мальчишек, всякого рода немецких мальчишек. Первым признаком того, что книга устарела, служит то, что она делается достоянием все более и более незрелых возрастов!.. Но что же вытеснило этих пятерых отцов литературы, что привело к тому, что образованные и трудолюбивые люди уже не читают их? Более развитый вкус, большее количество знаний, большее уважение к истинному и действительному, т. е. те самые добродетели, которые насаждали в Германии эти пятеро лиц (а также десять или двадцать других менее громких имен) и которые, разросшись густым лесом, бросают на их могилы не только тень уважения, но и тень забвения. Однако классиков нельзя считать насаждателями интеллектуальных и литературных добродетелей; они скорее завершители, так сказать, остающиеся высшие светлые точки добродетелей, существовавших в народе, когда последний погибает, остающиеся потому, что они легче, свободнее, чище народа. Но пусть погружаются народы в мрак забвения — для человечества еще возможно высокое будущее, пока Европа продолжает жить в тридцати очень старых, но никогда не стареющих книгах — своих классиков.

Интересно, но не красиво. — В этой местности есть скрытый смысл, но его надо отгадать; куда ни посмотрю, я всюду вижу слова, намеки на слова, но не знаю, где мне искать их разгадки. Я верчусь и туда и сюда, пытаюсь читать то с одной стороны, то с другой и становлюсь похож на вертиголовку...

Против новаторов языка. — Вводить в язык новые или устаревшие выражения, употреблять редко встречающиеся или иностранные слова, пользуясь возможно большим количеством их — служит доказательством незрелого или испорченного вкуса. Благородная бедность в словах и вместе с тем замечательное мастерство в уменьи владеть ими характеризуют речь греческих художников. Они хотят обладать меньшим запасом слов, чем народ, — народ всегда богаче и архаизмами и новыми выражениями, — но они желают, чтобы это немного было наилучшее. Их архаизмы и заимствования из иностранных наречий легко перечислить, но трудно выразить наше изумление, когда мы обращаем внимание на их легкий, изящный способ выражения, несмотря на то, что они пользуются, по-видимому, самыми обыденными и давно вышедшими из употребления словами и оборотами.

Печальные и серьезные авторы. — Автор, описывающий свои страдания, может быть назван печальным автором: серьезным же автором называется тот, который передает нам повесть о том, что он выстрадал и почему теперь живет в радости.

Здоровье вкуса. — Почему здоровье не так заразительно, как болезнь, в особенности, когда дело касается вкуса? Разве существуют эпидемии здоровья?

Намерение. — Не читать больше книг, которые как только родятся, уже погружаются в купель чернил.

Совершенствовать мысль. — Совершенствовать слог — значит совершенствовать мысль и больше ничего. — Кто с этим несогласен, того нечего убеждать.

Классические книги. — Самая слабая страница каждой классической книги это та, которая носит на себе явственный отпечаток родного языка автора.

Дурные книги. — Для книги требуются перо, чернила, письменный стол; но теперь обыкновенно перо, чернила и письменный стол вызывают потребность в книге... Вот почему теперь так мало хороших книг.

Присутствие смысла. — Публика, размышляя о картине, делается поэтом, а размышляя о стихотворении — исследователем. В тот момент, когда художник обращается к публике, ему не хватает здравого смысла, — не ума, а именно смысла...

Избранные мысли. — Изысканный слог выдающейся эпохи выбирает как слова, так и мысли, но пользуется при этом обычными, общеупотребительными словами и мыслями. Зрелому вкусу одинаково противны как слишком смелые новоиспеченные идеи, так и чрезмерно рискованные образы и выражения. Позднее как изысканные идеи, так и изысканные слова приобретают аромат посредственности: из них быстро улетучивается запах

изысканности и остается только обыденный, общеупотребительный.

136

Главное основание порчи стиля. — Желание выказать в чем-либо больше чувства, чем его имеется на самом деле, портит стиль в языке и во всех искусствах. Всякое истинное искусство отличается скорей противоположной наклонностью: оно, подобно высоко нравственному человеку, сдерживает свои чувства, не дает им вполне высказаться. Прекрасным примером стыдливости чувства служит Софокл. Чем с большею застенчивостью и сдержанностью высказывается чувство, тем яснее выступают его черты.

137

В извинение плохих стилистов. — Все легко высказанное редко бывает приятно для слуха и не имеет того значения, какого в действительности заслуживает. Это зависит от дурно воспитанного уха, которое от изучения того, что до сих пор называлось музыкой, должно перейти к изучению настоящей, высшей музыки, т. е. речи.

138

Перспектива с птичьего полета. — Как шумно и бурно несутся потоки с разных сторон к одной бездне! Движение их так стремительно и так пленяет зрение, что кажется, будто и обнаженные и покрытые лесом горные склоны не спускаются, а сбегает вниз. При этом зрелище приходишь в такое боязливо напряженное состояние, что кажется, будто во всем этом сказывается что-то враждебное, перед чем все должно пускаться в бегство и против чего только бездна представляет надежное убежище. Местность в этом виде не поддается кисти, если мы не парим над ней в воздухе, как птицы. В этом случае так называемая перспектива с птичьего полета не художественный произвол, а единственная возможность.

139

Рискованные сравнения. — Если рискованные сравнения не служат доказательством живой веселости писателя, то в них нужно видеть признак усталости его фантазии и во всяком случае признак дурного вкуса.

140

Танец в цепях. — Греческие художники, поэты, писатели, — невольно заставляют нас задавать себе вопрос: какого рода цепи налагают они на себя, приводя этим в восхищение современников и находя подражателей? Ведь то, что называется (в метрической речи) «открытием», есть в сущности не что иное, как произвольно наложенные на себя цепи. "Танцевать в цепях", чувствуя всю их тяжесть, и не только не обнаруживая этого, но, наоборот, придавая своему танцу вид легкости, — вот кунштштук, которым они желают удивить нас. Даже у Гомера мы видим много унаследованных формул и законов эпоса, при посредстве которых он исполнял свой танец. И сам он в свою очередь создал несколько условных правил, которым должны были следовать грядущие писатели. Это было как бы школой воспитания для греческих писателей: сначала они возлагали на себя многообразные цепи, полученные по наследству от предшествующих писателей, затем изобретали для себя новые и победоносно носили их. Трудность их работы и искусство преодолевать эту трудность были очевидны и приводили в изумление всех.

141

Полнота авторов. — Хороший писатель только под конец своей деятельности отличается полнотой. Кто же вступает на писательское поприще уже обладая полнотой, тот никогда не делается хорошим писателем. Благороднейшие скаковые кони до тех пор худы, пока не отдыхают от своих побед.

142

Герои с одышкой. — Писатели и художники, страдающие одышкой чувства, заставляют и героев своих по большей части страдать одышкой; они не имеют понятия о том, что значит легкое, ровное дыхание.

143

Полуслепец. — Полуслепец — смертельный враг всех несдержанных авторов. Последние узнают о его злобе, когда он, захлопывая книгу, замечает при этом, что издателю ее понадобилось пятьдесят страниц, чтобы

выразить всего пять мыслей. Причина его озлобления заключается в том, что он почти без всякой пользы для себя подвергал остаток своего зрения опасности. — Один полуслепец сказал: все авторы слишком распущены.

144

Слог бессмертия. — Фукидид и Тацит оба при обработке своих произведений думали о их бессмертии. Если бы мы не знали ничего об их цели, то легко догадались бы о ней по их слогу. Первый для достижения бессмертия вываривал свои мысли, а второй солил их, и оба, повидимому, не ошиблись в расчетах.

145

Против образов и сравнений. — Образами и сравнениями убеждают, но ничего не доказывают. Поэтому наука так и боится всяких образов и сравнений; она избегает всего, что может сразу убедить и заставить поверить; она предпочитает, наоборот, самую холодную недоверчивость, почему стиль ее лишен украшений и представляет из себя, так сказать, голые стены. Недоверие есть пробный камень, которым определяется чистое золото достоверности.

146

Осторожность. — Тот, кому не хватает основательных знаний, должен остерегаться писать в Германии. Добрый немец в таком случае не говорит: "он невежда", а находит, что "он человек сомнительного характера". Впрочем, такое поспешное суждение делает честь немцам.

147

Размалеванный остов. — Размалеванными остовами можно назвать писателей, которые искусственным подкрашиванием желали бы заменить свой недостаток в мускулах.

148

Высокий слог и более возвышенный. — Можно скорее научиться писать высоким слогом, чем легким и гладким. Это обстоятельство находится в зависимости от нравственных причин.

149

Себастьян Бах. — Если мы не имеем основательных знаний в контрапункте и всякого рода фугах, то, слушая музыку Баха, лишаемся специального артистического наслаждения. Но и в качестве обыкновенных слушателей его музыки мы испытываем такое приятное чувство, как если бы (выражаясь грандиозным языком Гете) мы присутствовали при сотворении мира. Другими словами: мы чувствуем, что рождается нечто великое, чего еще пока нет, что рождается наша великая современная музыка. Она покорила мир тем, что покорила мистику национальности, контрапункт. В Бахе слишком много еще грубого христианства, грубой неметчины и схоластики. Хоть он и стоит на пороге европейской (современной) музыки, но взор его обращен к средним векам.

150

Гендель. — Гендель, отличаясь в замысле смелостью, правильным пониманием, силою, стремлением к новаторству, героическими порывами, часто при выполнении приходил в смущение и оказывался холодным и как бы утомленным собою. Тогда он применял к делу некоторые уже испытанные методы, писал быстро и радовался, когда оканчивал работу, но радовался не так, как радовались другие творцы по завершении их трудов.

151

Гайдн. — Гайдн обладал гениальностью, насколько она совместима с хорошим человеком. Он доходит как раз до того пункта, где нравственность сходится с умом. Что же касается до его музыки, то он писал только такую, которая "не имеет прошедшего".

152

Бетховен и Моцарт. — Музыка Бетховена часто приводит нас в глубокое умиление, совершенно неожиданно

поражая наш слух тою "невинностью звуков", которая давно казалась нам утраченной; это — музыка, которая выше всякой музыки. — В песне нищих и детей на улице, в однообразных напевах бродячих итальянцев, в пляске где-нибудь в деревенском кабачке или в веселых танцах карнавала находит он свои мелодии. Подобно пчеле, собирающей мед, улавливает он и тут и там то звук, то короткую музыкальную фразу... Для него они составляют преображенные воспоминания "лучшего мира". Такого мнения был Платон об идеях. Моцарт иначе относится к своим мелодиям; он находит вдохновение не в музыкальных звуках, а в наблюдении над жизнью, над шумной, южною жизнью. Когда он и не жил в Италии, он постоянно мечтал о ней.

153

Речитатив. — Некогда речитатив был сух; теперь же мы живем во времена влажного речитатива: он попал в воду и стал игралищем волн.

154

"Веселая" музыка. — Если человек долгое время был лишен музыки, то она действует на него, как крепкое южное вино, быстро входя в кровь и приводя душу в оцепенелое, полубодренное, полусонное состояние. Таково действие именно веселой музыки, которая одновременно вызывает в нас горечь и боль, скуку и тоску по родине, постоянно вынуждая все глотать и глотать это, как подслащенную отраву. При этом стены залы, в которой гремит веселая музыка, как бы суживаются, свет меркнет и погасает... Наконец, человеку начинает казаться, что звуки музыки долетают до него из тюрьмы, где несчастный узник не может сомкнуть глаз от тоски по родине.

155

Франц Шуберт. — Франц Шуберт как артист стоит ниже других великих композиторов, но последние оставили ему богатейшее музыкальное наследство. Он расточал его такой щедрой рукой и так охотно делился им, что, пожалуй, еще столетия два композиторы будут пользоваться его идеями и замыслами. Его произведения представляют сокровищницу еще неразработанных идей; — другие достигнут величия, воспользовавшись ими. Если Бетховена можно назвать идеальным слушателем простого музыканта, то Шуберт с полным правом может считать себя таким идеальным музыкантом.

156

Новейший стиль музыкальной игры. — Великий трагико-драматический стиль в музыке приобретает свой характер от подражания, стараясь передать все приемы великого грешника в том виде, каким он представляется с точки зрения католицизма, т. е. в виде человека, медленнодвигающегося, страстно предающегося мечтам, которого мучения совести заставляют бросаться туда и сюда, с ужасом обращаться в бегство, в восторге пускаться в преследование или в отчаянии останавливаться, — словом, человека со всеми атрибутами великой греховности. Вообще этот стиль игры в применении ко всякой музыке только и объясняется предложением католика, что все люди — великие грешники и ничего другого не делают, как только грешат, а так как музыка служит изображением всех действий и поступков человека, то она и должна постоянно употреблять мимический язык великого грешника. Однако слушатель, который не настолько католик, чтобы усвоить себе эту логику, в праве воскликнуть с ужасом: "Да скажите же, ради самого неба, каким образом греховность стала музыкой!"

157

Феликс Мендельсон. — Музыка Феликса Мендельсона служит доказательством его вкуса ко всему хорошему, что было до него. Она постоянно указывает на прошлое. Поэтому мог ли Мендельсон иметь многое впереди или рассчитывать на далекое будущее? Да и вопрос, добивался ли он этого... Он обладал одной добродетелью, которая редко встречается между артистами: в нем было развито чувство признательности без всяких задних мыслей; но ведь и эта добродетель указывает только на прошлое.

158

Одна мать искусств. — В наш скептический век благочестие выражается грубым тщеславием, почти доходющим до геройства. Теперь уже недостаточно фанатического опускания очей и преклонения колен. Нет ничего невероятного в том, что тщеславие делается последним выражением благочестия и отцом последней католической церковной музыки, как оно уже было отцом последнего церковного архитектурного стиля. (Стиль этот называют иезуитским).

Свобода в цепях — княжеская свобода. — Последний из современных музыкантов, подобно Леонарду, понимавший красоту и молившийся на нее, был поляк «неподражаемый»: Шопен, — все музыканты, бывшие до него и после него, не имеют права на этот эпитет. У Шопена то же княжеское благородство в соблюдении музыкальных условностей, какое выказывал и Рафаэль своим употреблением самых простых и обыкновенных красок; только у Шопена оно выражается не в красках, а в простоте ритма и мелодий, которым он, рожденный среди этикета, только и придавал значение, как самый свободный и грациозный дух, играя и резвясь в оковах этикета без всякого издевательства над ним.

Баркаролла Шопена. — Почти в любом состоянии и при всяком образе жизни могут быть блаженные минуты. Их-то и умеют отыскивать истинные художники. Подобные минуты встречаются даже в жизни на морском берегу, — жизни скучной, грязной, нездоровой, протекающей среди шумной, алчной толпы всякого сброда. Такую блаженную минуту изобразил Шопен в своей баркаролле и притом с такою звучностью, что сами боги в долгие летние вечера не отказались бы лежать в челноке и наслаждаться ею.

Роберт Шуман. — Тот образ «юноши», о каком мечтали в первую треть нашего столетия романтические поэты Германии и Франции, в совершенстве выражен в пении и музыке Роберта Шумана, который сам был вечным юношей, пока чувствовал себя в полном обладании своих сил. Правда, у него есть такие моменты, когда его музыка напоминает вечную "старую деву".

Драматические певцы. — "Почему поет этот нищий?" — Потому, вероятно, что он не умеет вопить. — "В таком случае он прав. Но правы ли наши драматические певцы, которые вопят потому, что не умеют петь?..."

Драматическая музыка. — Для человека, не видящего, что происходит на сцене, драматическая музыка такая же нелепость, как длинный комментарий к давно утерянному тексту. Драматическая музыка требует, чтобы уши были там, где у нас глаза. Но это насилие над Эвтерпой: эта бедная муза желает, чтобы ей оставили уши и глаза на том же месте, где эти органы находятся и у остальных муз.

Победа и рассудительность. — К сожалению, и в эстетических битвах, которые художники вызывают своими произведениям и защитительными речами, верх нередко одерживает сила, а не рассудок. Теперь всеми признано за исторический факт, что Глюк был прав в своем споре с Пиччини. Во всяком случае, он восторжествовал в споре: сила была на его стороне.

О принципе исполнения в музыке. — Неужели нынешние виртуозы по части музыкальных выполнений действительно верят, что высшее требование их искусства состоит в том, чтобы всякой пьесе придать возможно больше выпуклости и во что бы то ни стало драматизировать ее? Но не будет ли это грехом в применении к Моцарту, напр.? Грехом против веселого, солнечного, нежного, легкомысленного духа его музыки? Ведь серьезность Моцарта не имеет в себе ничего страшного и отличается добродушием; образы его не выскакивают из стены, чтобы навести на зрителей ужас и обратить их в бегство. Или вы полагаете, что музыка Моцарта равнозначна "с музыкой Каменного гостя"? Да и не одна моцартовская музыка, а и всякая другая? Вы возражаете, что принцип ваш подтверждает тем действием, какое оказывает ваша музыка на слушателей. И вы были бы правы, если бы нельзя было предложить вам вопроса: "На кого же действует эта музыка и на кого собственно желал бы подействовать великий артист? Разумеется — не на толпу! не на незрелых! не на сентиментальных! не на болезненных! Но, главным образом, не на тупиц!"

Нынешняя музыка. — Наша современная музыка с ее сильными легкими и слабыми нервами прежде всего пугается самой себя.

167

Где музыка чувствует себя как дома. — Музыка достигает наибольшей власти между людьми, которые не могут или не смеют высказывать своих суждений. Ее преуспеянию содействуют главным образом князья, желающие, чтобы в их присутствии поменьше критиковали и вообще поменьше думали; затем — те общества, которые, находясь под гнетом (светским или духовным), должны выработать в себе привычку к молчанию, но которые тем сильнее ощущают потребность в волшебном средстве развлечения от угнетающей их скуки (средством этим обыкновенно служат постоянная влюбленность и постоянная музыка); в-третьих, наконец, целые народы, у которых нет никакого общества, но зато тем больше имеется отдельных единиц с наклонностью к уединению, к туманным идеям, к преклонению перед всем невыразимым: они и являются музыкантами в душе. — Греки, как народ, любивший прения и рассуждения, терпел музыку, только как приправу к другим искусствам, о которых можно действительно говорить и спорить, тогда как музыка едва ли могла вызвать в голове какую-либо определенную мысль. — Пифагорейцы, представляющие во многих отношениях исключение между греками, были, как говорят, великие музыканты; они же придумали и пятилетнее молчание; но диалектика не относится к числу их изобретаний.

168

Сентиментальность в музыке. — Чем сильнее мы чувствуем влечение к серьезной и высокой музыке, тем больше по временам проявляется в нас склонность поддаваться очарованию музыкальных произведений противоположного характера, от которых мы окончательно таем. Говоря это, я разумею самые простые итальянские оперные мелодии; несмотря на однообразие ритма и наивную гармонию, в них как бы напевает нам сама душа музыки. Согласны ли вы, фарисеи хорошего вкуса, с этим или нет, но это так, и мне остается только задать вам эту загадку и самому немного помочь вам разгадать ее. — Когда мы были еще детьми, мы впервые отведали сладость многих вещей и никогда впоследствии мед их не казался нам таким сладким, как в то время: он манил к жизни, к долгой, долгой жизни, в лице и первой весны, и первых цветов, и первых мотыльков, и первой дружбы. В то время — это было, может быть, на девятом году нашей жизни — мы услышали и первую музыку; первую понятную для нас, такую простую и наивную, что она мало чем отличалась от бесхитростного мотива колыбельной песни. (К восприятию даже самых незначительных «откровений» искусства надо быть однако до известной степени подготовленным; никакого «непосредственного» действия искусства не бывает, как бы красно ни толковали об этом философы). Итальянские мелодии и напоминают нам о том первом испытанном нами музыкальном наслаждении, — самом сильном в нашей жизни, — о чувстве детского блаженства, об утрате невозвратного детства, этого самого неоценимого сокровища. Мелодии эти затрагивают в нашей душе такие струны, которые под влиянием серьезной музыки едва ли в состоянии были бы звучать. — Такая смесь эстетического наслаждения с нравственной печалью, которую принято теперь свысока называть сентиментальностью, соответствует настроению Фауста в конце первой сцены. Эта сентиментальность слушателей служит во благо итальянской музыки, которую тонкие ценители искусства, чистокровные эстетики, обыкновенно любят игнорировать. Впрочем, всякая музыка только тогда очаровывает нас, когда говорит с нами языком нашего прошлого; поэтому человеку, не посвященному в тайны искусства, старая музыка и кажется всегда лучше новой: новая музыка не пробуждает еще «сентиментальности», составляющей, как сказано, существенный элемент наслаждения для всякого, кто наслаждается ею не как природный артист, а как обыкновенный человек.

169

Как любители музыки. — Наконец, мы любим музыку, как любим лунный свет. Ни музыка, ни лунный свет не вытесняют солнца; они только, насколько это возможно для них, освещают наши ночи. Но, подшутить и подсмеяться мы все-таки можем над ними? По крайней мере хоть время от времени и слегка? Над человеком на луне! над женщиной в музыке!

170

Искусство в век труда. — В нас живет сознание, что наш век есть век труда. Это не позволяет нам посвящать лучшие часы дня искусству, хотя бы самому почетному и великому. Мы ищем в искусстве отдохновения, наслаждаемся им на досуге и посвящаем ему только остатки нашего времени, наших сил. Таков общий факт, изменивший отношение искусства к жизни. Требуя значительной затраты времени и сил от его почитателей, оно

встречает противодействие в людях трудолюбивых и деловитых; таким образом искусство как бы предназначается для людей праздных, бессовестных, которые однако уже по природе своей не склонны признавать великого искусства и считают требования последнего неосновательными. Итак искусство должно было бы погибнуть за недостатком свежего воздуха и за невозможностью свободно дышать: но оно пытается под другим, более грубым видом приспособиться к обстоятельствам, научиться дышать тем воздухом (или по меньшей мере выносить его), который составляет существенный элемент низшего искусства, искусства для забавы, для приятного развлечения. Мы видим теперь повсеместно, что артисты великих искусств обещают нам отдых и развлечение: что они обращаются к утомленному, и умоляют последних пожертвовать им вечерними часами их трудового дня — совершенно, как артисты, стремящиеся забавлять и вполне довольствующиеся если им удастся одержать победу над нахмуренным лбом и опущенным взором. Но какими же приемами пользуются их более великие современники? О, в запасе у них имеются сильнейшие возбуждающие средства, от которых могут встрепенуться даже полумертвые. В их распоряжении находятся средства оглушать человека, потрясать его, доводить до упоения, до судорожных рыданий. Благодаря этим средствам, они торжествуют над утомленным человеком; вызывают в нем искусственное оживление, так что становится вне себя от восхищения и ужаса. Употребление таких средств опасно, но имеем ли мы право, вследствие этого, негодовать на искусство в том виде, как оно выражается в опере, трагедии и музыке, и считать его коварным и греховным? Разумеется, нет. Само искусство во сто раз охотнее предпочло бы действовать при более чистой атмосфере, при ясном свете и обращаться к зрителям и слушателям, душа которых еще не утомилась от дневных забот и полна утренней силы и свежести. Будем признательны искусству и за то, что оно еще существует при таких обстоятельствах, а не покинуло нас совсем; но и признаем тот факт, что оно сделается негодным, когда снова наступят свободные дни, полные торжества и радости.

171

Служители науки и другие ученые. — Деловых ученых, преуспевающих на поприще науки, можно назвать «приставленными» к науке. Если уже в молодые годы они упражняют в достаточной степени проникаемость, знакомство с фактами, верность руки и взгляда, то какой-нибудь ученый, старше их годами, приставляет их к такой отрасли науки, где способности их могут принести наибольшую пользу. С течением времени, они научаются распознавать, где наука их представляет больше всего пробелов и недостатков, и сами стараются пристроиться там, где нужно. Такие натуры существуют для науки. Но встречаются и другие, более редкие натуры. Они редко достигают успеха, хотя это вполне зрелые люди. Отношение их к науке иное: не они существуют для науки, а "наука для них"; по крайней мере они сами убеждены в этом. Это люди по большей части неприятные, гордые, упрямые, но почти всегда производящие известное очарование на окружающих. Их нельзя назвать ни «представителями» науки, ни служителями ее. С царственным равнодушием они пользуются положениями, выработанными и утвержденными другими, к которым они относятся как к людям низшей породы и которых редко удостоивают даже умеренной похвалы. А между тем дарования у них те же и зачастую развиты даже меньше, чем у первых. Кроме того, им свойственна известная ограниченность, которой нет у тех, и благодаря которой они неспособны занять какого-бы то ни было определенного поста и сделаться полезным орудием — они могут дышать только собственным воздухом, жить на собственной почве. Эта ограниченность внушает им мысль, что все в науке "принадлежит им", т. е. что они все могут перенести в свою атмосферу, в свою область. Они вечно воображают, что собирают свою повсюду рассеянную «собственность». Если им препятствуют в устройстве их собственного гнезда, они погибают, как бесприютные птицы; лишение свободы для них равносильно сухотке. Если же они, подобно первым, посвящают себя какой-либо отдельной области науки, то выбирают только такую, где могут произрастать нужные для них плоды и семена. Им нет никакого дела до того, что наука, взятая в целом, имеет невозделанные и дурно обработанные области. В них полное отсутствие беспристрастного отношения к вопросам знания; они насквозь проникнуты субъективизмом, почему все их взгляды и знания носят на себе отпечаток их индивидуальности и представляют живую энциклопедию, отдельные части которой тесно связаны между собою, цепляются одна за другую, питаются одной пищей, и в общем имеют свой особенный воздух и свой особенный запах. Такие натуры, придавая всем образам отпечаток своей личности, нередко приводят к ошибочному заключению, будто наука (и даже вся философия) представляет уже законченное целое и достигла цели. Очарование это производит жизненность их образов. По временам вызванное ими заблуждение бывало роковым для науки и заставляло вышеупомянутых тружеников мысли впадать в ошибки. Но когда господствуют сухость и всеобщее изнеможение, эти люди приносят отраду и действуют как сладостный освежающий отдых в прохладной тени. Таких людей обыкновенно называют философами.

172

Признание таланта. — Однажды, когда я проходил по деревушке З., один мальчик начал изо всех сил хлопать кнутом. Видно было, что он мастер своего дела и сознает это. Я бросил на него взгляд, выражающий признание

его искусства, которое в сущности возбуждало во мне очень неприятное ощущение. Так поступаем мы и при признании многих талантов. Мы доставляем им удовольствие, а они причиняют нам неприятность.

173

Смех и улыбка. — Чем радостнее и увереннее ум, тем больше отвыкает человек громко смеяться. Взамен этого на губах его играет постоянная улыбка, как знак его изумления перед множеством скрытых утех разумного существования.

174

Поддержка больного. — Как при душевных страданиях люди рвут на себе волосы, бьются головой, расцарапывают себе лицо или даже, подобно Эдипу, выкалывают себе глаза, так и при сильных телесных страданиях для уменьшения их они стараются вызвать в себе какое-либо сильное горькое чувство: или вспоминают о своих врагах и клеветниках, или в мрачных красках рисуют себе будущее, или же наконец мысленно осыпают отсутствующего оскорблениями и наносят ему удары кинжала. Таким образом, иногда один дьявол, действительно, вытесняет другого, но тогда этот другой остается. — Поэтому можно посоветовать больному прибегать и к другому способу для отвлечения своего внимания; способ этот, повидимому, также уменьшает страдание: пусть больной мечтает о тех благодеяниях и милостях, которыми он может осыпать своего друга и недруга.

175

Посредственность, как маска. — Посредственность — чрезвычайно удачная маска, которою может прикрываться сильный ум, чтобы скрыть свое превосходство над толпой, т. е. над людьми посредственными. Сильный ум надевает эту маску ради толпы, чтобы не раздражать ее, часто из-за одного сострадания и доброты.

176

Терпеливые. — Пиния как будто прислушивается, ель как будто чего-то ждет; и та и другая не выказывают нетерпения: они не думают о маленьких людях, движущихся под ними и снedaемых нетерпением и любопытством.

177

Лучшие шутки. — Я всегда с великим удовольствием приветствую шутку, когда она стоит вместо тяжелой, неудобопонятной мысли. Я смотрю на нее как на намек, как на условное подмигивание.

178

Необходимая принадлежность всякого почитания. — Ни в коем случае нельзя допускать людей, любящих все подвергать основательной чистке и вытряхиванию, туда, где прошлое пользуется почетом. Оно всегда должно быть немножко покрыто пылью, грязью и мусором.

179

Великая опасность, угрожающая ученым. — Наиболее серьезным и основательным ученым грозит именно опасность видеть, как цель их жизни постепенно мельчает, и чувствовать как во вторую половину их жизни они становятся все угрюмее и неуживчивее. Они вступают в святилище науки с широкими надеждами, ставят себе смелые задачи, цель которых уже вперед намечена их фантазией; но наступает момент когда, как и в жизни великих мореплавателей, знания, предположения, силы, — слабеют прежде, чем впервые покажется вдали желанный берег. С каждым годом исследователь все больше и больше убеждается в том, что если он желает вполне разрешить какую-нибудь задачу, то должен насколько возможно сузить ее границы и постараться избежать той непроизводительной затраты сил, от которой так страдала наука в ранние периоды своего существования: десять человек разрешали вопросы и все же одиннадцатому приходилось сказать последнее и лучшее слово. Чем больше ученый привыкает держаться этого способа разрешения задач, тем более находит он в нем удовольствие; но вместе с тем возрастает и строгость его требований относительно того, что в данном случае следует считать полным разрешением проблемы. Он устраняет все, что в этом смысле должно оставаться не вполне выясненным; все только наполовину разрешимое вызывает в нем чувство недовольства, как и все, что может представлять собою известную достоверность только в общем и самом неопределенном. Его юношеские

планы разбиваются у него на глазах; от них едва остаются кое-какие узлы и узелки, и ученый находит теперь отраду в том, чтобы применять свои силы к распутыванию их. И тут-то, в разгаре этой полезной неустанной деятельности, внезапно овладевает им, этим стареющим человеком, глубокое уныние, нечто вроде угрызений совести. Он всматривается в себя и видит, как он изменился: он стал как будто меньше, ничтожнее, обратился в искусного карлика; его мучит мысль, не выбрал ли он того маленького дела, в котором преуспевает, ради личных удобств, не есть ли это простая уловка, чтобы избежать напоминания о величии жизни и ее задачах?... Но он к ним вернуться уже не в состоянии — время его миновало.

180

Учителя в период господства книг. — Вследствие того, что самообразование и совместные занятия делаются все более и более общим явлением, учитель — в обычном смысле этого слова — становится почти ненужным. Для товарищей, жаждущих сообща учиться и стремящихся приобрести различного рода познания, книги представляют к этому более короткий и естественный путь, чем «школа» и «учитель».

181

Тщеславие как великое полезное свойство. — В первобытные времена сильный человек относился самым хищническим образом не только к природе, но и к обществу и к единичным слабым личностям: он извлекал из них всю возможную пользу и шел дальше. Так как жизнь его была не обеспечена и голод чередовался в ней с изобилием, то он убивал при случае большее количество зверей, чем мог съесть, и грабил большее количество людей, чем было нужно для удовлетворения его потребностей. Проявление его власти было ничем иным как проявлением его мстительного чувства против тяжелого и опасного существования. Вот почему он желал казаться более могущественным, чем был на самом деле, и пользовался всяким случаем, чтобы убедить в этом других. Чем больше наводил он страху, тем сильнее увеличивалась его власть. Он скоро подмечал, что его возвеличивает или унижает не то, что он есть на самом деле, а то, за что он выдает себя. В этом и заключается источник тщеславия. Могущественный всеми средствами старается увеличить веру в свое могущество. — Подвластные и служащие ему люди, трепещущие перед ним, знают, что ценность их обуславливается тем значением, которое он им придает, и вот они трудятся не ради собственного своего удовлетворения, а для поддержания своего значения в его глазах. Мы знакомы с тщеславием только в более слабых его формах, в сублимированных небольших его дозах, потому что те условия, при которых мы теперь живем, значительно изменились и смягчились. Но первоначально тщеславие было в высшей степени полезным свойством, самым сильным средством самосохранения. Притом тщеславие было тем сильнее, чем умнее была личность, так как увеличить веру во власть легче, чем увеличить самую власть, но, разумеется, только для человека, обладающего умом: а ум в первобытные времена был равнозначен с хитростью и коварством.

182

Показатели культуры. — Верных показателей культуры так мало, что человек должен радоваться, если он имеет хоть один несомненный признак, которым может руководствоваться в домашнем обиходе и при культивировании своего сада. Чтобы определить, принадлежит ли человек к числу наших сторонников или нет — я разумею — к числу свободных мыслителей — надо обратить внимание на его отношение к католицизму. Если он относится к нему не критически, то мы повертываемся к нему спиной: он представитель дурного воздуха и дурной погоды. Наша задача состоит вовсе не в том, чтобы объяснять таким людям, что такое сирокко. У них есть свои наставники погоды и просвещения; если они и их не хотят слушать, то...

183

Для гнева и наказания есть свое время. — Гнев и наказание — дары, унаследованные нами от зверей. Человек только тогда делается совершеннолетним, когда он эти дары снова возвратит животным. В этом факте скрыта одна из величайших идей, какими только могут обладать люди, а именно — идея о прогрессе всех прогрессов. — Заглянем за несколько тысячелетий вперед, друзья мои! Людям впереди предстоит еще много радостей, каких и не предвкушают современные люди! И мы не только можем мечтать об этих радостях, но и готовы верить и клясться, что они неизбежны, если только развитие человеческого разума не остановится! Наступит время, когда логический грех, таящийся в гневе и наказаниях, совершаемых и отдельным лицом и обществом, делается невозможным; когда расстояние, отделяющее голову от сердца, делается настолько близко, насколько оно далеко теперь. Да и теперь расстояние это уже не так велико, как было первоначально, что вполне становится очевидно при обзоре общего хода человеческого развития. И человек, посвятивший себя наблюдению над внутренней работой жизни, с гордой радостью убеждается, как сократилось это расстояние между головой и сердцем, какая общность появилась в их действиях, и в нем в силу этого пробуждаются смелые надежды на еще

лучшее будущее в этом отношении.

184

Происхождение «пессимистов». — Немного хорошей пищи часто влияет на то, как мы смотрим на будущее: с надеждой или с унынием. Это верно даже по отношению к самым возвышенным и духовным сферам человека. Недовольство и мрачный взгляд на жизнь унаследованы современным человечеством от предшествовавших голодавших поколений. На наших художниках и поэтах, несмотря на роскошную жизнь, нередко можно заметить, что они не знатного происхождения и что они восприняли в свою плоть и кровь многое из того, чем отличались их предки, жившие в угнетении и впроголодь. Это ясно обнаруживается в выборе ими сюжетов и красок для своих произведений. Культура греков есть культура людей, пользовавшихся достатком и притом людей древних. Они по меньшей мере на два столетия жили лучше, чем мы (лучше во всех отношениях, так как отличались простотою в пище и питье); и вот в конце концов мозг их достиг такого утонченного развития, кровь, подобно светлomu вину, веселящему сердце, пробегала с такой быстротой по их жилам, что все доброе и лучшее выступало у них ясно, прекрасно и радостно, а не являлось в угрюмом вынужденном виде.

185

О разумной смерти. — Что разумнее: остановить ли машину, когда работа, которая требовалась от нее, покончена, или оставить ее действовать, пока она не остановится сама, т. е. пока она окончательно не испортится? Последнее не является ли напрасной тратой стоимости ее содержания, злоупотреблением силами к вниманием людей служивших ей тратой того, что крайне нужно в другом месте? Не развивается ли вообще некоторого рода недоверие к машинам при виде такого дорогого, но совершенно бесцельного и бесполезного пользования ими? Я говорю о непроизвольной (естественной) и о произвольной (сознательной) смерти. Естественная смерть вполне независима от разума и потому вполне неразумна, тут жалкая субстанция оболочки определяет, долго ли просуществует заключенное в ней зерно; и, следовательно, больной тупоумный тюремщик является распорядителем, назначающим срок, когда должен умереть его знатный узник. Естественная смерть — это самоубийство природы, т. е. уничтожение разумнейшего существа тем неразумным, что неразрывно связано с ним. Только при мистическом освещении все это кажется в ином свете, так как при этом предполагается, что высший разум отдает повеление, которому низший должен подчиняться. Но, оставляя мистику в стороне, мы видим, что естественная смерть вовсе не заслуживает возвеличения. — Однако такое мудрое упорядочение вопроса о смерти и о времени смерти принадлежит еще непонятной и безразличной с теперешней точки зрения морали будущего, заря которой наполняет сердце наше неописуемым счастьем.

186

Возврат к прежним формам жизни. — Все преступные люди отодвигают общество на более низкую ступень культуры, чем та, на которой оно находится: они влияют регрессивно. Стоит только вспомнить о тех орудиях, которые общество создает и поддерживает ради самозащиты — искусную полицию, тюремщиков, палачей; причем не следует забывать и публичных обвинителей и адвокатов. Затем остается еще вопрос, не представляют ли сами судьи, с налагаемыми ими наказаниями, т. е. вообще вся судебная процедура, такого явления, которое действует на неправоверников скорее угнетающим, чем возвышающим образом. Меры, принимаемые обществом для самозащиты и его месть никогда не удастся облечь в тогу невинности. И все развитое человечество скорбит каждый раз, когда общество в своих целях пользуется человеком как средством и приносит его в жертву.

187

Война, как целебное средство. — Народам, приходящим в упадок и истощение, можно было бы посоветовать в виде целебного средства войну, в том случае, разумеется, если они еще желают продолжать жить — ведь для излечения сухотки народов пригодны только самые зверские средства. Впрочем, вечное желание жить, нерешимость умереть — свидетельствуют уже о дряхлости чувств. Чем жизнь полнее и деятельнее, тем скорее человек готов отдать ее за любой добрый высокий миг блаженства. Народ, который так живет и чувствует, не нуждается в войнах.

188

Пересадка духовная и телесная как врачебное средство. — Различные культуры — все равно, что различные климаты для духа: каждый из них может быть вреден для одного организма и полезен для другого. История в целом, как наука о различных культурах, есть собственно учение о средствах к излечению, но не учение об исцелении. Только тот врач и нужен, который пользуется этим учением и на основании его на время или навсегда

посылает больного в климат соответствующий его здоровью. — Рекомендовать как универсальное средство для излечения одну какую-либо определенную культуру нельзя, так как при этом вымерли бы многие в высшей степени полезные породы людей, которые не в состоянии дышать ею. История должна находить для них подходящий воздух и по возможности сохранять их: ведь люди и отсталых культур имеют свою ценность. В целях как духовного, так и телесного исцеления человеку необходимо ознакомиться с медицинской географией и определить, какие местности на земле наиболее способствуют вырождению, какие развитию болезней и какие, наоборот, представляют из себя санаторий. Постепенное, но непрерывное пересаживание народов, семейств и отдельных лиц их одного климата в другой, более благоприятный для них, приведет в конце концов к тому, что наследственные физические недуги будут побеждены. Вся земля представит из себя тогда ряд санитарных станций.

189

Древо человечества и разум. — То, чего вы в вашей старческой недалёковидности опасаетесь как перенаселения земли, представляет для людей, полных надежды, задачу: как обратить человечество в дерево, которое осенило бы всю землю, в дерево со многими миллиардами цветов, долженствующих принести плоды; как подготовить почву, чтобы она могла пропитать это дерево; как увеличить недостаточный теперь приток соков и сил в бесчисленных сосудах, чтобы их хватило для питания как целого так и отдельных частей. Подобная задача служит мерилom полезности или бесполезности современного человека. Задача эта безгранично велика и смела: мы все должны стремиться к тому, чтобы не дать дереву подгнить раньше времени. Историческому уму удастся представить себе всю жизнь и все дела человечества в таком же наглядном виде, в каком нам представляется жизнь муравьев с их искусными сооружениями. При поверхностном суждении можно, пожалуй, допустить, что человечество, как и муравьи, руководствуется в своих действиях инстинктом. Но при более строгом исследовании мы видим, что народы в течении столетий неутомимо трудятся над изысканием и испытанием способов, при посредстве которых можно было бы достигнуть наибольшего благосостояния наибольшему количеству людей и даже всему человечеству. И сколько бы испытание этих способов ни причиняло вреда отдельным лицам, народам, векам, однако вред этот только делает каждый раз отдельных людей умнее и через них разумность медленно распространяется на учреждения целых времен и народов. Ведь и муравьи заблуждаются и впадают в ошибки; человечество в свою очередь, благодаря нелепым способам, может, конечно, прийти к истощению и раньше времени погибнуть: ни у тех, ни у других нет верного, безошибочного инстинкта, который бы руководил ими. Мы должны скорее взглянуть прямо в лицо великой задаче и подготовить почву для царства самого величайшего и радостного плодородия, — такова задача разума!

190

В похвалу бескорыстного и о его происхождении. — Между двумя смежными властителями в течение многих лет существовала вражда; враги опустошали друг у друга хлебные поля, угоняли скот, сжигали селения, но так как силы противников были приблизительно равны, то борьба эта велась без решительного исхода. Третий властитель, благодаря замкнутости своих владений, мог держаться некоторое время в стороне от этих распрей; однако, имея основание опасаться, что настанет день, когда один из его сварливых соседей одержит победу над другим, он с благими желаниями торжественно обратился к враждующим и предложил им заключить между собою мир; при этом, для того, чтобы придать более веса своему предложению, он каждому из противников дал тайно понять, что отныне он будет союзником того, кто будет поддерживать мир. Враги сошлись у него и, скрепя сердце, позволили ему соединить в знак мира их руки, столь долго бывшие орудием, а часто и причиной ненависти; и действительно, они серьезно отнеслись к этой попытке сохранить мир. Каждый из противников скоро с изумлением убедился, как быстро начинает возрастать благосостояние его страны. Поддерживать мирные торговые сношения с соседом оказалось гораздо выгоднее, чем относиться к нему как к коварному и нередко торжествующему врагу. Кроме того, если, при мирных обстоятельствах, страну постигало непредвиденное бедствие, сосед всегда мог оказать помощь в нужде, вместо того, чтобы, как бывало раньше, воспользоваться ею ради собственного своего возвышения. Казалось даже, что самый вид людей в обеих странах стал лучше, так как взоры у всех прояснились, морщины на лбу разгладились, и у всех явилось доверие к будущему, а ничто так благотворно не действует на душу и тело, как доверие. Ежегодно в день заключения мира властители вместе со своими приверженцами являлись на свидание, которое происходило всегда в присутствии их посредника. Чем больше они видели пользы для себя от следования его совету, тем более образ его действий вызывал их изумление и преклонение; они называли его бескорыстным. Выгоды, пожинаемые ими со времени заключения мира, поглощали все их внимание, и потому они усматривали в поведении своего соседа только то, что оно почти вовсе не повлияло на перемену его собственного положения, что оно осталось прежним, почему и казалось, что посредник их не имел в виду личной пользы. Тут люди в первый раз пришли к заключению, что бескорыстие случалось и раньше, но только в меньшем масштабе и в частной жизни. Впервые же добродетель эта возбудила всеобщее удивление, когда она, для общего назидания, была крупными четкими буквами начертана на

стене. Нравственные качества признаются добродетелями, получают название, пользуются почетом, рекомендуются для подражания, с того только момента, как они наглядным образом способствуют счастью и благоденствию всего общества. Тогда у многих восприимчивость и возбуждение внутренней творческой силы достигает такой высоты, что они приносят ей в дар все, что у каждого из них есть самого лучшего: серьезный приносит в жертву свою серьезность, достойный — свое достоинство, юноша — свои надежды и упования на будущее; поэт придумывает ей разные эпитеты и названия, составляет ее родословную и, подобно художнику, начинает под конец преклоняться перед образом своей фантазии, как перед новым божеством: он учит молиться ей. Таким образом добродетель, над развитием которой, как над созданием статуи, трудятся любовь и признательность, становится в конце концов вместилищем всего доброго и достойного почитания, чем-то в роде храма и божества в одно и то же время. Она является чем-то единственным в своем роде, самодовлеющим, и пользуется правами и властью освященной сверхчеловечности. Города Греции позднейшего периода были полны таких обоженных абстрактов (да простят мне странность этого выражения ради странности самого понятия); народ по-своему воздвиг себе на земле платоновское "небо идей", и я не думаю, чтобы понятие о его обитателях было у них менее живо, чем понятие о древних гомеровских божествах.

191

Период мрака. — Периодом мрака называется в Норвегии то время года, когда солнце не появляется на горизонте. — Это прекрасное сравнение для всех мыслителей, для которых солнце будущего временно закатилось.

192

Философ роскоши. — Небольшой садик, несколько фиг, кусок сыру и при этом три или четыре близких друга, — вот в чем состояла роскошь Эпикура.

193

Эпоха жизни. — Собственно эпохами жизни являются короткие приостановки, разделяющие периоды возвышения и понижения господствующей идеи или чувства. Эти приостановки соответствуют состоянию сытости, все остальное будет уже голодом, жаждой или пресыщением.

194

Сон. — Наши сны, когда в исключительных случаях отличаются живостью и реальностью, — обыкновенно сны бессмысленны, — представляют собою рад символических сцен и образов, заменяющих повествовательный поэтический язык; они как бы описывают все пережитое нами, все наши ожидания, отношения и описывают с такой художественной смелостью и определенностью, что на утро мы приходим в изумление, припоминая наши сны. Во сне мы затрачиваем слишком много творческой силы, почему мы так и бедны ею днем.

195

Природа и наука. — В науке, как и в природе, возделываются сначала худшие бесплодные области, так как для этого бывает почти достаточно и тех средств, которыми располагает только что народившаяся наука. Обработка наиболее плодородных местностей предполагает предварительную тщательно развитую силу методов, массу достигнутых единичных результатов и организованную артель рабочих, искусных рабочих, что является уже впоследствии. — Нетерпение и тщеславие заставляют иногда раньше времени хвататься за обработку этих наиболее плодородных местностей, и в результате получается нуль. Природа мстит за такие попытки тем, что поселенцы погибают с голоду.

196

Простой образ жизни. — В наше время стало очень трудно вести простой образ жизни: для этого даже у очень умных людей нет достаточно рассудительности и изобретательности. Самый искренний из них сознается, пожалуй, и скажет: "мне некогда долго размышлять об этом. Простой образ жизни — цель слишком для меня высокая; я подожду, пока более мудрые, чем я, откроют его секрет".

197

Вершины и верхушки. — Ничтожная плодovitость, частое безбрачие, половое равнодушие высших и

культурнейших умов, так же, как соответствующих им классов, представляют собою экономию человечества. Разум пользуется тем общепризнанным фактом, что опасность появления нервного потомства у людей, отличающихся чрезмерными духовным развитием, очень велика. Такие люди стоят на вершине человечества — они не должны спускаться до того, чтобы быть его верхушками.

198

Никакая природа не делает скачков. — Когда развитие человека быстро подвигается вперед, то кажется, будто он перескакивает из одного состояния в другое, противоположное. Но более точные наблюдения убеждают нас, что перед нами происходит только возникновение нового здания из старого. Задача биографа состоит в том, чтобы при описании жизни руководствоваться аксиомой, что никогда природа не делает скачков.

199

Тоже опрятно. — Кто одевается в чисто вымытые лохмотья, тот одет хоть и опрятно, но в тряпье.

200

Слова одинокого. — В награду за тоску, скуку, уныние, как за естественные следствия уединенной жизни без друзей, без книг, без обязанностей и страстей, человек имеет несколько коротких мгновений глубочайшего самоуглубления и единения с природой. Ограждая себя от уныния, он тем самым ограждает себя от возможности быть наедине с самим собой, и никогда уже ему не придется испробовать освежительного напитка из собственного глубокого внутреннего источника.

201

Фальшивая известность. — Я ненавижу те мнимые красоты природы, которые в сущности имеют значение только благодаря знанию, именно знанию географии, но которые на самом деле совсем не удовлетворяют нашего чувства красоты. Возьмем для примера вид на Монблан из Женевы; вид этот не представлял бы из себя ничего замечательного, если бы ему не придавали красоты наши географические познания. Ближайшие горы гораздо красивее и внушительнее, но "далеко не так высоки", нашептывает нам наше нелепое знание. Однако глаз наш противоречит знанию. Можно ли истинно радоваться при таком противоречии!

202

Путешествующие ради удовольствия. — Они, как звери, взбираются на вершины гор, одурелые и покрытые потом; им забыли сказать, что по дороге также встречаются прекрасные виды.

203

Слишком много и слишком мало. — Все люди теперь слишком много переживают и слишком мало передумывают. Они чувствуют нестерпимый голод и в то же время страдают от колик, так что сколько бы ни ели, они не худеют. Кто в настоящее время говорит: "я ничего не пережил", тот дурак.

204

Конец и цель. — Не всякий конец есть достижение цели. Конец мелодии не ее цель, и тем не менее мелодия, не дойдя до конца, не достигнет и цели.

205

Нейтралитет величественной природы. — Нейтралитет величественной природы (гор, морей, лесов и пустынь) нравится, но не надолго; вскоре нами овладевает нетерпение: "Неужели же все эти величественные картины природы так и останутся безмолвны? Разве мы здесь не для них?" Так возникает в нас чувство *crimen laesae majestatis humanae* (преступления против верховной нашей человеческой особы).

206

Забывчивость относительно намерений. — В пути обыкновенно забываешь о цели. Почти всякая профессия является сначала — только средством, а затем конечной целью. Забвение целей самая обычная глупость людей.

207

Солнечный путь идеи. — В момент появления идеи на горизонте температура души обыкновенно очень низка. Идея только постепенно развивает свою теплоту и становится наиболее жгучей (т. е. проявляет сильнейшее воздействие), когда вера в нее уже клонится к закату.

208

Средство восстановить всех против себя. — Пусть отважится кто-нибудь сказать теперь: "кто не со мною, тот против меня!" — и тотчас же он возбудит всех против себя. Такое настроение делает честь нашему времени.

209

Стыдиться своего богатства. — Наше время терпит только один вид богачей, а именно тех, которые стыдятся своего богатства. Услыхав о ком-нибудь, что "он очень богат", тотчас же представляешь его себе в виде чего-то противного, опухшего, напоминающего ожирение или водянку. Делаешь усилие и призываешь на помощь всю гуманность, чтоб не выдать отвращения в разговоре с таким богачем. Если же он не прочь еще почваниться, то к вышеуказанному чувству примешивается род сострадательного удивления пред глубиною такого человеческого безумия. Мы готовы воздеть руки к небу и воскликнуть — "Бедное изуродованное создание, порабощенное, обремененное свыше сил и скованное сотнями цепей. На нервах твоих отзываются все события в жизни двадцати народов, неприятности сторожат тебя ежеминутно, и ты еще хочешь нас уверить, что можно быть счастливым в твоей шкуре! А каково тебе в обществе под докучливыми взглядами, полными враждебности или затаенной насмешки. Может быть, тебе легче, чем другому, достаются деньги, но зато их излишек мало радует тебя, а сохранять их в наше время гораздо труднее, чем даже приобретать. Ты постоянно страдаешь, потому что несешь постоянные потери. Что пользы в том, что тебе постоянно вливают новую искусственную кровь, — ведь это не уменьшает боли от пиявок, всосавшихся в твой затылок. Но будем справедливы: тебе трудно, почти невозможно быть иным, ты должен беречь, должен снова приобретать; наследственная склонность гнетет тебя, как мучительное иго. Так не обманывай же нас, а лучше честно и открыто стыдись ярма, которое ты носишь. Ведь в глубине души ты так устал нести его и так негодуешь на него. Не стыдись же: в твоём стыде нет ничего для тебя постыдного.

210

Верх надменности. — Существуют до того надменные люди, что для любого величия, пользующегося явным удивлением, они не находят иной похвалы, как считать его мостком или переходной ступенью, приближающей это величие к ним.

211

На почве поношения. — Кто хочет разубедить, обыкновенно не довольствуется победой в споре. Для него мало опровергнуть и выказать ту нелогичность мнений, которая таилась, словно червь, в противнике; нет, убивши червя, он бросает еще в грязь весь плод, чтоб сделать его неприглядным в глазах людей и внушить к нему отвращение. Так действует он, чтобы помешать обычному "восстанию на третий день" опровергнутой идеи. Но он ошибается, потому что именно в грязи, на почве, удобренной оскорблениями, зерно идеи быстро пускает новые ростки. Итак, не чернить и осмеивать нужно то, что хотят окончательно уничтожить, а скорее заботливо и настойчиво погружать в лед, помня, что мнения обладают цепкой живучестью. Причем не надо забывать правила, гласящего, что "возражение не есть еще опровержение".

212

Удел нравственности. — Когда уменьшается духовное рабство, то падает и нравственность (инстинктивная, унаследованная склонность действия по нравственному чувству). Но единичные добродетели — умеренность, справедливость, душевное спокойствие — не разделяют этой участи, так как высшая свобода сознающего себя духа приводит произвольно к ним же и подтверждает их полезность.

213

Фанатик недоверия и его ручательство. — Старик. Ты хочешь дерзать на необычайно возвышенное и поучать этому массы. Где твое ручательство, что ты на это способен. Пиррон. Вот оно: Я буду предостерегать людей от

себя самого. Я открыто признаю все свои недостатки, выставлю на глаза всем свою опрометчивость, противоречивость и невежество. Я скажу людям: не слушайте меня, пока я не стал подобен ничтожнейшему из вас и даже еще ничтожнее его. Боритесь как можно дольше против истины из отвращения к ее защитнику. Малейший проблеск уважения с вашей стороны ко мне, и я стану вашим соблазнителем и обманщиком. Старик. Ты обещаешь слишком много. На это не хватит твоих сил. Пиррон. Так я скажу людям и то, что я слишком слаб и не могу сдерживать обещания. Чем недостойнее буду я в их глазах, тем с большим недоверием отнесутся они к истине, которую я возведу им. Старик. Так ты хочешь быть учителем недоверия к истине? Пиррон. Недоверия, небывалого еще доныне, недоверия ко всему и ко всем. Это единственный путь к истине. Правый глаз не должен доверять левому, и свет должен в течение известного времени называться тьмой. Вот тот путь, которым вы должны идти. Не думайте, что он приведет вас к деревьям, увешанным плодами, и прекрасным пастбищам. Мелкие жесткие зерна встретите вы на нем — это зерна истины. Долгие годы будете вы пригоршнями поглощать заблуждения, чтобы не умереть с голоду, хотя вы и будете уже знать, что это заблуждение. Но зерна истины будут посеяны, зарыты в землю, и, кто знает, может быть, настанет когда-нибудь день жатвы. Никто, кроме разве фанатика, не осмелится наверное это обещать. Старик. Друг, друг, и твои слова — слова фанатика. Пиррон. Ты прав! Я буду недоверчиво относиться ко всем и своим даже словам. Старик. Если так, то тебе останется только молчать. Пиррон. Я скажу людям, что должен молчать, и что они должны не доверять и моему молчанию. Старик. Значит, ты отказываешься от своего предприятия? Пиррон. Вернее, ты показал мне врата, чрез которые я должен войти. Старик. Я не знаю, понимаем ли мы теперь друг друга вполне. Пиррон. Вероятно нет. Старик. О, если бы ты вполне понимал хоть самого себя. Пиррон (оборачивается и смеется). Старик. Ты молчишь и смеешься, друг, не в этом ли теперь вся твоя философия? Пиррон. Право, это была бы не самая плохая.

214

Европейские книги. — Своими творениями Монтень, Ларошфуко, Лабрюйер, Фонтенель (особенно его "Диалог мертвых"), Вовенарг и Шамфор больше роднят читателя с древностью, чем любая группа шести авторов других стран. Эти шестеро вместе образуют крупное звено в великой цепи Возрождения. В их созданиях опять воскрес дух последних столетий пред нашею эрою. Их книги выше национального вкуса и той философской окраски, которой отливает и должна ныне отливать всякая книга, чтобы прославиться. В них больше, чем в целой немецкой философии, содержится истинных мыслей из числа тех, которые порождают мысли и... я затрудняюсь точно определить. — Достаточно, если я скажу, что мы имеем тут дело с авторами, писавшими не для людей и не для мечтателей, не для молодых женщин и не для католиков, не для немцев, не для... (я снова затрудняюсь закончить мой перечень). Чтобы яснее выразить похвалу я скажу, что пиши они по-гречески, их понимали бы и греки. Напротив, из писаний лучших немецких мыслителей, напр. Гете и Шопенгауэра, много ли уразумел бы даже сам Платон, не говоря уже об отвращении, которое внушил бы ему их туманный стиль, иногда тощий, как щепка, иногда полный преувеличений. (Гете, как мыслитель, стремился в своих творениях обнять облака, а Шопенгауэр все время не безнаказанно блуждает среди аллегорий и сравнений предметов вместо того, чтобы рассмотреть самые предметы). Между тем эти двое в этом отношении грешат еще меньше других немецких мыслителей. Наоборот, у вышеупомянутых французов такая ясность, такая красивая определенность. Греки, обладавшие очень тонким слухом, одобрили бы их искусство, а особенно пришли бы в восторг от этой французской остроты слога: они очень ее любили, хотя сами не были особенно сильны в этом отношении.

215

Мода и современность. — Везде, где еще процветает невежество, грубость нравов и суеверие, где торговля хромает, земледелие влачит жалкое существование, а мистика могущественна, там встречаем мы и национальный костюм. Наоборот, мода царит там, где замечаются признаки противоположного. Моду, следовательно, нужно отыскивать по соседству с добродетелями современной Европы. Но не является ли она их теневой стороной? Мужская одежда, сшитая по моде, указывает в его обладателе прежде всего на то, что он не хочет бросаться в глаза ни как единица, ни как представитель известного сословия или народа, что он даже преднамеренно подавляет в себе такого рода тщеславие; затем, что он деловой человек, что ему некогда тратить времени на костюм и украшения, и что всякая роскошь покроя мешала бы ему работать. Наконец, европейская одежда подтверждает претензию на научную и вообще на умственную деятельность, тогда как сквозь сохранившиеся у некоторых народов национальные костюмы проглядывает еще разбойничество, пастушество или солдатчина, как профессии, наиболее еще уважаемые и задающие тон. В пределах этого общего характера современной мужской одежды существуют однако небольшие колебания, говорящие о суетности юных франтов и праздношатающихся больших городов, следовательно, лиц не достигших еще зрелости настоящего европейца. Европейская женщина еще дальше от этого идеала, потому и разнообразия в ее одежде еще больше. Она тоже не носит национального платья и не желает, чтобы ее признавали за немку, француженку или русскую. Однако, она не прочь побаловать личное тщеславие оригинальностью костюма, главным образом, не допуская сомнения в том, что она принадлежит к почетному классу, к «хорошим» или «высоким» сферам общества. При этом близость к

"большому свету" тем более подчеркивается, чем в действительности обладательница костюма дальше отстоит от него. В особенности же, молодая женщина никогда не наденет такого костюма, который носят особы несколько более пожилые, из боязни пасть в цене, показавшись старше, а пожилая, пока ей это возможно, охотно готова обманывать юношескими костюмами. Из этого соперничества и возникают по временам моды, в которых молодость выступает не двусмысленно и исключает всякую возможность подражания. Когда истощится на время находчивость молодых художниц по части выставления на показ их молодости, или, чтобы сказать всю правду, когда окажется, что использован дух изобретательности других стран, весь костюмированный земной шар, совместные вкусы испанцев, турок и древних греков для лучшей обрисовки прекрасного тела, — тогда опять находят, что до сих пор женщины не ясно понимали свою выгоду, что на мужчину лучше действует игра в прятки с прекрасным телом, чем голая или полуголая искренность. Тогда колесо вкуса и тщеславия опять поворачивается в противоположную сторону. Несколько устаревшие молодые женщины видят, что настало их царство, и соперничество прелестнейших, абсурднейших созданий разгорается с новой силой. Но по мере того, как женщины внутренне растут, перестают отдавать предпочтение в своей среде незрелому возрасту — проявляется все меньше разнообразия в их одежде и все больше простоты в украшениях. Судить об этом однако нельзя по античному масштабу или по одеждам жительниц южных приморских стран, а нужно принимать во внимание условия средней и северной Европы, где настоящая родина современного гения — вдохновителя духа и формы.

В общем, следовательно, характерную особенность моды и современности составляет не изменчивость (т. к. последняя есть нечто реакционное и присуща вкусам незрелых европейцев мужского и женского пола), а, наоборот, отрицание национальной, сословной и индивидуальной исключительности. В виду сказанного, заслуживает похвалы и то обстоятельство, что Европа, сберегая время и силы, предоставила некоторым странам и городам думать о моде и изобретать ее за других по вопросу об одежде. К тому же не все в одинаковой степени одарены чувством изящного. Я не вижу большой кичливости в том, что Париж, напр., (пока существуют известные колебания) хочет быть единственным изобретателем и новатором в области моды. Если немец, из ненависти к притязаниям французского города, захочет иначе одеваться, напр., как одевался Альбрехт Дюрер, — то он должен предварительно принять во внимание, что хотя его костюм и носили древние немцы, но все же не немцы его изобрели — что вообще никогда не существовало исключительно немецкой одежды, — и пусть затем посмотрит, какой вид он имеет в этом костюме, и не протестует ли его современная голова, со всеми линиями и морщинами, проведенными на ней девятнадцатым веком, против дюреровского одеяния.

Нужно заметить, что употребляя здесь слова «современный» и «европейский» как синонимы, я разумею под словом «Европа» гораздо большее пространство земли, чем охватывает этот маленький полуостров Азии; я разумею именно и Америку, насколько она может назваться дочерью европейской культуры. В самой же Европе под наш культурный термин подходят далеко не все народы, а только те, у которых есть общее прошлое в виде греческого и римского мира, библии и христианства.

216

Немецкая добродетель. — Никто не станет оспаривать, что с конца прошлого столетия в Европу нахлынул поток нравственного пробуждения. Тут добродетель снова подняла и возвысила свой голос. Она стала призывать к естественному выражению восторженных и трогательных чувств, уже не стыдясь себя и сочиняя стихи и философские системы для собственного прославления. В поисках за источником этого движения мы натолкнемся прежде всего на Руссо, не на мифического Руссо, какого воображают себе по впечатлению, производимому его писаниями (можно почти то же сказать — его мифически истолкованными писаниями), а на Руссо, каким он является в тех указаниях, которые он сам дает о себе, (и сам он, и его читатели постоянно работали над этой идеализацией). Другим источником служит возрождение стоически великого Рима. Тут французы достойнейшим образом продолжали дело Renaissance'a. Они с блестящим успехом перешли от воссоздания античных форм к воссозданию античных характеров. Им навсегда принадлежит высочайшая слава, слава народа, давшего современному человечеству лучшие до сих пор книги и лучших людей. Как подействовал этот двойственный образец — мифический Руссо и воскресший античный дух — на более слабых соседей, можно видеть на примере Германии. В силу этого нового и непривычного порыва к величию духа и суровому самообладанию она почувствовала удивление к своей новой добродетели и бросила в мир новое понятие "немецкая добродетель", как нечто коренное, а не унаследованное. Первые великие мужи, которые перенесли к нам от французов это стремление к величию и сознательности нравственной воли, были честнее своих потомков и не забывали благодарности. Откуда исходит морализм Канта? Он не скрывает этого: от Руссо и воскресшего стоического Рима. У морализма Шиллера — те же источники и то же прославление их; морализм Бетховена в звуках — есть вечная хвалебная песнь Руссо, античным французам и Шиллеру. Но, прислушиваясь к проповеди ненависти против французов, о благодарности забыл тот самый "немецкий юноша", который одно время выступил на передний план с большей сознательностью, чем это вообще считается позволительным для юношей. Если бы он проследил свою генеалогию, то мог бы по праву заключить о своей близости к Шиллеру, Фихте и Шлейермахеру в первом поколении. Но дедов своих ему пришлось бы отыскивать в Париже и Женеве, и наивно с

его стороны было думать, что добродетель не старше тридцати лет. Мы и до сих пор еще не можем отучиться от приобретенной в те времена привычки при слове «немецкий» подразумевать вместе с тем и добродетель. Заметим кстати, что выше упомянутое нравственное пробуждение (как это легко доказать) было не полезно, а вредно для познания нравственных явлений и имело чисто регрессивное значение. Что такое вся немецкая нравственная философия, начиная с Канта со всеми ее французскими, английскими и итальянскими отпрысками и отголосками? — Полутеологический поход на Гельвеция, отрицание завоеванного свободного мировоззрения и указания на настоящий путь, найденный с таким трудом, что он так хорошо и выяснил. Гельвеций в Германии до сих пор служит любимой мишенью для нападок со стороны всех добрых моралистов и "хороших людей".

217

Классически и романтически. — Как классически, так и романтически настроенные умы (поскольку вообще существует эти две группы) носятся с мечтою о будущем, но первые приходят к ней, исходя из своего времени, а вторые — из его слабости.

218

Машина как учительница. — Машина обращает человеческую массу в подобие механизма зубчатых колес, где все действуют заодно, но каждый занят своим специальным делом. Она служит образцом партийной организации и боевого строя. Но, индивидуальному самовозвеличению научить она не может. Она обращает множество людей в одну машину и каждую единицу в орудие общей цели. Ее главное воздействие указывает на выгоду централизации.

219

Недостаток оседлости. — Мы охотно живем в маленьком городе, но от времени до времени, когда эта жизнь становится нам слишком понятна, непреодолимая сила гонит нас в безлюдие непроницаемой природы. Затем, чтобы отдохнуть от природы, мы переселяемся в большой город. После нескольких хороших глотков из его кубка мы угадываем, что таится на дне его и опять возобновляем круговращение, начиная с маленького городка. Так живет современный человек. Он во всем слишком «основателен», чтобы быть оседлым, подобно людям других времен.

220

Реакция против машинной культуры. — Являясь созданием высших мыслительных сил, машина требует от прислуживающих ей одной только бессознательной движущей силы. Правда, она освобождает вообще массу дремлющих сил, но не создает побуждений к росту, к улучшению, к художественному творчеству. С машиной всюду воцаряется однообразие и деятельность, что порождает со временем отчаянную душевную скуку и жажду самой разнообразной праздности.

221

Опасность просветления. — Все полупомешанное, театральное, зверски жестокое, чувственное, все сентиментальное и самооглушающее, составляющее в совокупности субстанцию революции, а до нее плоть и дух Руссо — все это, говорю я, с коварным воодушевлением прикрыло свою фанатическую голову венцом просветления, который и засиял яркой славой. Просветление по самой основе своей чуждо всему этому и, идя своим путем, просияло бы как луч солнца, пробившийся сквозь облака; оно долгое время довольствовалось бы перерождением отдельных личностей, лишь медленно преобразовывая нравы и учреждения народов. Теперь же, связанное с этим стремительным и неистовым существом революции, само просвещение стало таким же стремительным и неистовым, так что опасность от него, пожалуй, превышает пользу от просветительного и освободительного элемента, внесенного им в революцию. Кто все это поймет, тому станет ясно, из какой смеси нужно извлечь и от какой грязи очистить просвещение, чтобы продолжать его дело просветления и в корне задушить революцию.

222

Средневековая страстность. — Средние века — время величайших страстей. Ни древним, ни нашим современникам не введома тогдашняя широта души, и никогда величие духа не измерялось более грандиозным масштабом. Физические качества первобытного лесного варвара и вдохновенные, широко раскрытые глаза юношеских католических мистерий, все детское, юношеское и все старчески-усталое, перезревшее, грубость

хищного зверя и утонченный, изощренный античный дух — все это нередко соединялось тогда в одном человеке. Тогда поток страсти бушевал сильнее, водоворот был стремительнее, падение глубже, чем когда-либо. Мы, новые люди, можем успокоить себя тем, что значительны были и невыгоды, сопряженные с такой бурей.

223

"Грابتь" и «сберегать». — Успехом пользуются все умственные движения, которые великим дают надежду на грабеж, а малым — надежду на сбережение. Потому и немецкая Реформация имела успех.

224

Ликующие души. — При малейшем намеке на выпивку, на пьянство и всякого рода зловонную распущенность вечно угрюмые души древних немцев ликовали: проявлялось как бы взаимное понимание и сочувствие.

225

"Распущенность Афин". — Даже во времена появления на рыбном рынке певцов и философов, афинская распущенность все еще имела более утонченный и идиллический вид, чем тот, который вечно присущ римской и германской распущенности. Голос Ювенала звучал бы в Афинах как пустой барабан, и скромный и почти детский смех был бы ему ответом.

226

Ум греков. — Так как корни жажды побед и отличий глубже в человеческой душе, чем уважения и любви к равенству, то греческое государство и санкционировало у себя гимнастические и художественные состязания. Этим оно суживало арену соперничества и ограждало от опасности свой политический строй. С окончательным падением Олимпийских игр греческое государство постигло внутреннее брожение и разложение.

227

"Вечный Эпикур". — Эпикур жил во все времена и живет еще и донныне, но неведом тем, которые называли и называют себя эпикурейцами и не пользуется почетом у философов. Он даже забыл свое собственное имя: оно было самым тяжелым багажом, от которого он только когда-либо освобождался.

228

Стиль превосходства. — Язык немецкого студента обязан своим происхождением тем студентам, которые не занимаются науками. Последние приобретают перевес над своими более серьезными товарищами тем, что, сбрасывая все напускное с образования, нравственности, учености, с учреждений, с умеренности, так же часто пользуются словами и выражениями из всех этих областей, как и самые лучшие ученые, но только со злобой, светящейся во взоре, и с гримасой на лице. На этом языке — единственно оригинальном языке Германии — невольно говорят и люди государственные, и газетные критики. Он состоит в постоянном ироническом употреблении цитат, в гримасах в немецком духе и в беспокойных и задорных взглядах, бросаемых то направо, то налево...

229

Похороненные. — Мы отступаем в тайное убежище не из-за личного негодования или недовольства политическими и социальными условиями настоящего, а потому, что своим отступлением желаем в настоящем (чем более оно настоящее и чем более оно в этом духе выполняет свою задачу) сохранить и сберечь силы, которые со временем могут настоятельно понадобиться для культуры. Мы накапливаем капитал и стараемся поместить его в надежное место, а для этого зарываем его в землю, как это было в обычае во все тревожные времена.

230

Тираны духа. — В наше время больным сочли бы того человека, в котором, как напр. в Теофрасте и Мольере, резко выразилась какая-либо одна нравственная черта и тотчас повели бы речь об его *idée fixe*. Если бы мы попали в Афины третьего века, то этот город показался бы нам населенным глупцами. — В настоящее время в каждой голове царит демократия понятий, и власть принадлежит многим понятиям; если же одно из них

стремится стать господствующим, то мы, как выше сказано, считаем его за *idée fixe* и тотчас же начинаем намекать на дом умалишенных; это наш способ избавляться от тиранов.

231

.....

232

Глупцы государственности. — Почти мистическая любовь греков к своим правителям перешла на город, когда царское достоинство было уничтожено. Так как понятие может выдержать больше любви, чем личность, и не так часто озадачивает преданного ему человека, как любимые люди (ведь чем более последние уверены в любви, тем беспощаднее относятся они к любящим, пока, наконец, не становятся недостойными любви и не наступает разрыва), то почитание городов и государств было сильнее, чем почитание государей. В древней истории глупцами государственности являлись греки; в новейшей истории эту роль играют другие народы.

233

Против небрежного отношения к зрению. — Каждые десять лет не замечается ли в Англии упадка зрения среди образованных классов общества, преданных чтению *Times'a*?

234

Великие дела и великая вера. — Тот совершал великие дела, а этот, современник его, питал к ним великую веру. Оба они неразлучны. Но, очевидно, что первый находится в полной зависимости от второго.

235

Общественный человек. — "Я не выношу сам себя, — сказал однажды человек, объясняя влечение своей обязанности к обществу. — Желудок общества гораздо здоровее моего: он в состоянии переваривать и меня".

236

Когда ум должен закрывать глаза. — Если человек привык обдумывать свои поступки, то совершать их (хотя это было даже писание писем, еда и питье), он должен с закрытым умственным взором. В разговоре с человеком дюжинным надо тоже мыслить с закрытым умственным взором — только тогда способ мышления собеседника становится доступен пониманию. Это закрытие глаз есть ощутимый процесс, для выполнения которого требуется усилие воли.

237

Самая страшная месть. — Если кто желает отомстить сопернику, то должен дожидаться, пока руки у него не будут полны справедливых улик, которые он может пустить в ход против врага. Такого рода месть не противоречит справедливости и представляет собою самый страшный способ, за отсутствием высшей инстанции, куда можно было бы апеллировать в данном случае. Таким способом отметил за себя Вольтер Пиррону, изобразив в пяти строках все вожеления последнего, его жизнь и образ действий. Таким же способом отметил он и Фридриху Великому (в письме к нему из Фернея).

238

Подать, уплачиваемая за роскошь. — Человек, покупая в магазине нужную для него вещь, платит за нее очень дорого, так как ему вместе с этим приходится платить и за предметы, находящиеся в магазине, на которые редко находится покупатель, а именно за различные предметы роскоши. Таким образом, роскошь заставляет самого простого человека, несколько в ней не нуждающегося, платить в ее пользу постоянный налог.

239

Почему еще существуют нищие. — Если бы милостыню подавали только из сострадания, то все нищие давно умерли бы с голоду.

240

Почему еще существуют нищие. — Наибольшей щедростью при раздаче милостыни отличается малодушие.

241

Как мыслитель пользуется разговором. — Не будучи шпионом, можно многое подслушать, если умеешь хорошо видеть и на время забывать о себе. Но люди не умеют пользоваться разговором; они обращают слишком много внимания на то, что намерены сами сказать или возразить; человек же, умеющий слушать, часто довольствуется коротким ответом и беглым замечанием, сделанным просто из вежливости. В сущности же он старается запечатлеть в своей памяти все высказанное его собеседником и запомнить все его слова и выражения до тона и мимики включительно. — При обыкновенном разговоре каждый из собеседников воображает, что руководит разговором именно он. Это похоже на два плывущие рядом и время от времени сталкивающиеся корабля, из которых каждый находится в приятной уверенности, что именно за ним следует другой корабль или что он даже ведет его на буксире.

242

Искусство извиняться. — Человек, который извиняется перед нами, должен сделать это очень ловко, иначе легко может случиться, что мы сами почувствуем себя виноватыми и нам это будет неприятно.

243

Невозможное отношение. — Корабль твоих идей нуждается в глубокой воде, он не может плавать по водам этих приличных, дружески к тебе расположенных людей; воды их неглубоки, и в них встречается слишком много мелей: тебе без толку пришлось бы кружиться и в смущении беспрестанно сворачивать из стороны в сторону, а это, в свою очередь, должно немало смущать твоих друзей, которые не в состоянии догадаться о причине твоего затруднительного положения.

244

Самая типичная лиса. — Настоящая лиса называет кислым не только тот виноград, который она не может достать, но и тот, который достала или отняла у других.

245

При самом близком общении. — Как бы люди ни были тесно связаны между собою, все же на их общем горизонте имеются все четыре страны света и по временам они замечают это.

246

Молчание, вызываемое отвращением. — Случается, что кто-нибудь, как мыслитель и человек, переживает болезненный кризис и публично заявляет об этом. Но слушатели не замечают ничего! они продолжают считать его таким, каким он был прежде! — Это обычное явление уже возбуждало отвращение у многих писателей; они были слишком высокого мнения о человеческом уме; увидав же свою ошибку, они могли только похвалить себя за молчание.

247

Серьезность дела. — Дело для знатного и богатого человека есть в некотором роде отдых от долгой и привычной праздности. Поэтому-то он с такой серьезностью и страстностью и относится к нему и ценит его так же высоко, как другие люди ценят редкие часы досуга, посвящаемого ими отдыху и любви.

248

Двоякий смысл зрения. — Подобно тому как мутная рябь внезапно пробегает по волнам, разбивающимся у ног, так в глазах человека появляется иногда что-то неуверенное, двусмысленное, так что невольно задаешь себе вопрос: что это? Ужас? Улыбка? или то и другое вместе?

249

Положительно и отрицательно. — Этот мыслитель не нуждается в человеке, который опровергал бы его: ему довольно для этого самого себя.

250

Мсть пустых сетей. — Надо остерегаться людей, которые преисполнены горького чувства рыбака, после утомительного дня работы возвращающегося вечером домой с пустыми сетями.

251

Не пользование своим правом. — Для пользования властью требуется известный труд и мужество. И многие отказываются от своих лучших, законных прав только потому, что право это есть в некотором роде власть, а они слишком ленивы или трусливы, чтобы пользоваться ею. Этот недостаток прикрывается личиной добродетели и называется терпением и снисходительностью.

252

Носители света. — В общем не было бы солнечного света, если б его не вносили с собою люди, от природы обладающие свойством ласкаться, как кошки; я разумею так называемых любезных людей.

253

Когда человек наиболее щедр. — Человек становится наиболее щедрым после того, как ему оказан был какой-нибудь особенный почет или когда он немного поел.

254

К свету. — Люди стремятся к свету не для того, чтобы лучше видеть, а чтобы больше сиять, и охотно принимают за свет тех, пред кем сияют.

255

Ипохондрик. — Ипохондрик — это такой человек, который в достаточной степени обладает умом и склонностью к рассужению, чтобы понимать основу своих страданий, потерь, ошибок. Но область, доставляющая ему пищу, очень мала. Он скоро опустошает ее настолько, что лишь кое-где попадаются отдельные былинки. Тогда-то он становится завистником, скупцом и делается несносным.

256

Обратное вознаграждение. — Гесиод советует как можно больше вознаграждать соседа, помогшего нам в нужде. Сосед испытывает при этом удовольствие, так как видит, что его доброта принесла ему проценты; но и дающий чувствует удовлетворение, так как искупает свое прежнее унижение тем, что с лихвой расплачивается за оказанную ему помощь.

257

Излишняя утонченность. — Мы больше следим не за слабостями других, а за тем, насколько замечаются наши слабости, а потому наша наблюдательная способность и отличается излишней утонченностью.

258

Светлая тень. — Близко, совсем близко к мрачным людям всегда почти находится как бы связанная с ними светлая душа. Это словно отрицательная тень, отбрасываемая ими.

259

Не мстить за себя. — Существует столько утонченных способов мести, что человек, имеющий повод к мщению, может поступать как ему угодно — мстить или не мстить. Все равно по прошествии некоторого времени все будут уверены, что он отомстил. Таким образом едва ли зависит от человека не прибегать к мщению: если он не

хочет мстить, то должен умалчивать об этом, так как презрение к мщению выражает собою высшую, утонченную форму мести. Отсюда такой вывод: не следует делать ничего излишнего.

260

Заблуждение почитателей. — Люди воображают, что высказывают мыслителю нечто чрезвычайно лестное и приятное, заявляя ему, что его мысли и выражения и им приходили в голову. Однако такие заявления мало восхищают мыслителя, а наоборот, часто возбуждают в нем недоверие к своим идеям и выражениям, и он про себя решает подвергнуть пересмотру и те и другие. Если кто-нибудь хочет выразить человеку свое почитание, то отнюдь не должен указывать на сходство мнений, так как это низводит почитаемого человека до уровня его почитателя. В некоторых случаях общественное приличие прямо даже требуют, чтобы мы относились к чужому мнению так, как будто бы мы никогда до сих пор и не слышали ничего подобного и как будто бы оно переступает даже границы нашего кругозора. Так следует поступать, напр., в тех случаях, когда какой-либо старый опытный человек начинает выкладывать перед нами запас своих знаний.

261

Письмо. — Письмо — это неожиданно наносимый нам визит, а податель письма — посредник такого невежливого на нас нападения. Следовало бы каждую неделю обречь по часу на получение писем и затем брать ванну.

262

Предубежденный. — Однажды кто-то сказал: я с детства предубежден против себя; поэтому в каждом порицании я всегда нахожу частицу правды, а в каждой похвале — частицу глупости. Вообще, я ценю похвалу слишком низко, а порицание — слишком высоко.

263

Путь к равенству. — Несколько часов восхождения на гору приравнивают негодяя ко святому. Усталость — кратчайший путь к равенству и братству, а сон, наконец, присоединяет к этому и свободу.

264

Клевета. — Если нападаешь на след низкой клеветы, то не приписывай ее происхождение твоим честным и открытым врагам: если бы они и изобрели что-нибудь подобное, то им никто бы не поверил, имея в виду их враждебное отношение к тебе. Но люди, которым мы долгое время были полезны и которые однако, на основании чего бы то ни было, втайне уверились, что больше ничего не могут от нас добиться, — такие люди способны на всякую низость. Им верят, во-первых, потому, что нельзя предположить, что они станут клеветать во вред себе, а во-вторых, потому, что они близко знают нас. — В утешение оклеветанный человек может сказать себе: клевета есть болезнь других, обнаруживающаяся на моем теле. Она только доказывает, что общество представляет из себя (в нравственном отношении) одно тело, а потому лечение, предпринятое мною, должно оказать пользу и другим.

265

Райская жизнь детей. — Счастье детей такой же миф, как счастье гиперборейцев, о котором рассказывали греки. Если счастье и существует на земле, говорили они, то очень далеко от нас, где-нибудь там, на краю света. Так же точно думают и более пожилые люди: если человек вообще может быть счастлив, то только в таком возрасте, который так далек от их настоящего, т. е. на границе начала жизни. Для многих, смотрящих через покрывало этого мифа, уже одно зрелище детей доставляет счастье, участниками которого они могут сделаться сами. — Миф о царстве блаженства детей распространен в современном мире везде, где только встречается хоть немного сентиментальности.

266

Нетерпеливые. — Человек в период развития не хочет развиваться вследствие нетерпения. Юноша не хочет ждать той поры, когда, после долгого изучения, после целого ряда страданий и лишений, картина его жизни наполнится людьми и предметами, и принимает на веру предлагаемую ему готовую уже картину, как будто она может немедленно заменить все краски и линии его картины; он привязывается к какому-нибудь философу или

поэту и долгое время несет это иго привязанности, отрекаясь от своей личности. Юноша многому при этом научается, но нередко забывает то, что наиболее достойно внимания и изучения — именно самого себя, и потому на всю жизнь остается приверженцем известной партии. Да! много надо преодолеть скуки, много пролить пота, пока не найдешь своих красок, своей кисти, своего полотна! И даже тогда еще долго, долго не сделаешься настоящим мастером искусства жизни, хотя, по крайней мере, будешь хозяином собственной мастерской.

267

Воспитателей не существует. — В качестве мыслителя можно толковать только о самовоспитании. Воспитание юношества не что иное, как эксперимент, производимый над тем, что еще неизвестно, незнакомо нам, или же это нивелировка, чтобы привести как бы то ни было новое существо в соответствие с господствующими нравами и обычаями. И то и другое недостойно мыслителя и есть дело родителей и учителей, которые, по выражению одного смелого честного человека, являются *nos ennemis naturels* — нашими естественными врагами. — Только когда, по мнению света, воспитание человека давным давно закончено, последний вдруг открывает себя: тогда-то начинается задача мыслителя; наступает пора призвать его на помощь — не как воспитателя, а как опытного человека, который сам воспитал себя.

268

Участие к юношеству. — Нам становится грустно, когда мы слышим, что у одного юноши выпадают зубы, а у другого портится зрение. А как велика была бы наша грусть, если бы мы в состоянии были постичь, сколько роковых и безнадежных недугов таится во всем его организме! — Но почему же это так огорчает нас? Потому, что юношество является продолжателем предпринятых нами задач и всякая убыль, всякий недостаток в их силе наносит вред нашему делу, попавшему в их руки. Нам становится грустно при мысли, что наше бессмертие так плохо гарантировано. Когда же мы чувствуем, что на нас лежит выполнение миссии человечества, наше горе истекает от сознания, что мы должны передать эту миссию в более слабые руки, чем наши.

269

Возрасты жизни. — Сравнение четырех времен года с четырьмя возрастами жизни является весьма почтенной глупостью. Ни первые, ни последние двадцать лет жизни не соответствуют никакому времени года, если не довольствоваться сравнением седых волос с снегом и другими подобными совпадениями в цвете. Первые двадцать лет служат подготовкой к жизни вообще; они как бы представляют из себя длинный первый день нового года, за которым следует еще целый год жизни. — Последние же двадцать лет посвящены обзору пережитого, подведению итогов прошлого, как в меньшем размере мы это делаем всякий раз при наступлении нового года. Но между первым и последним периодом жизни есть еще третий период, который можно сравнить с временами года; этот период начинается с двадцати лет и продолжается до пятидесяти (мы берем все десятилетия целиком, но само собою разумеется, что каждый, сообразно своему личному опыту, может подразделить их на меньшие, более точные промежутки времени). Эти три десятка лет соответствуют трем временам года: — лету, весне и осени; зимы в человеческой жизни нет. С зимою просто сравнивают те, к сожалению, нередкие, жестокие, холодные, безнадежные и бесплодные периоды жизни человека, когда им овладевают недуги. Двадцатые годы это жаркие, трудные, бурные, утомительные годы, когда день хвалят вечером, отирая со лба капли пота; годы, когда труд кажется тяжелым, но необходимым. Эти двадцатые годы представляют из себя лето жизни. Тридцатые годы соответствуют весне: температура тогда то слишком высока, то слишком низка, непостоянна, хотя и привлекательна; всюду струятся соки, всюду появляется обилие листвы, запах распускающихся почек, волшебный рассвет и чудные ночи, труд, к которому будит нас пение птиц — настоящая работа сердца, наслаждение собственным здоровьем, силой и крепостью, усиливаемое еще надеждой на будущее. Наконец, сороковые годы: годы, полные таинственности, как все неподвижно; эти годы подобны обширной горной равнине, по которой пробегает свежий ветерок, над которой сияет безоблачное небо, смотрящее на землю с одинаковою кротостью и днем и ночью. — Это время жатвы и сердечной ясности, это — осень жизни.

270

Ум женщин в современном обществе. — Какое понятие имеют женщины об уме мужчин явствует из того, что, всевозможными способами украшая себя, они меньше всего заботятся об украшении своего ума и не только не придают чертам своего лица духовного отпечатка, а напротив, стараются все похожее на это скрыть посредством, напр., известного расположения волос на лбу, придавая лицу своему выражение чувственности и некоторой глупости, хотя бы они и не отличались этими качествами. Они твердо убеждены, что женщина, обладающая умом, наводит страх на мужчин, вследствие чего они преднамеренно и охотно отрекаются от своих духовных способностей и принимают на себя личину легкомыслия, недалекости, надеясь сделать мужчин

доверчивее; при этом их как будто окружает нежный заманчивый полумрак.

271

Великое и преходящее. — Наблюдатель бывает тронут до слез тем мечтательным счастливым взглядом, которым молодая прекрасная женщина смотрит на своего супруга. При этом он испытывает нечто вроде осенней грусти, навеваемой мыслью о громадности и непрочности человеческого счастья.

272

Чувство самопожертвования. — Многие женщины обладают *intellecto del sacrificio* в такой степени, что жизнь становится им в тягость, если мужа не принимают их жертв. Тогда женщина не знает, на что ей обратить свой ум и неожиданно для самой себя из жертвенного животного обращается в жрицу, требующую жертв.

273

Неженственное. — "Глупа, как мужчина", — говорят женщины; "труслив, как женщина", — говорят мужчины. Глупость в женщине не женственна.

274

Мужской и женский темперамент и смертность. — Мужская половина человеческого рода обладает худшим темпераментом, чем женская. Это видно из большей смертности мальчиков, происходящей, без сомнения, вследствие того, что они легче "выходят их себя". Их дикие порывы и невыносимость обращают обычное зло в смертельное.

275

Эпоха циклопических построек. — Европа безостановочно демократизируется. Люди, желающие помешать этому демократизированию, употребляют против него средства, которые демократическая идея вложила каждому в руки и которые она делает все более доступными и действительными; главные же противники демократии (я разумею революционные умы), кажется, для того только и существуют, чтобы посредством возбуждаемого ими страха заставить различные партии скорее вступить на демократический путь. Однако люди, сознательно и добросовестно трудящиеся на пользу будущего, действительно могут навести страх. На лицах их лежит отпечаток однообразия и сухости: они как будто до мозга костей покрыты густой серой пылью. Но несмотря на это возможно, что потомство посмеется над нашими опасениями, а о демократическом труде целого ряда поколений будет так же думать, как мы о постройках каменных плотин и охранительных стен, т. е. как о работе, при которой платье и лицо неминуемо покрываются пылью и сами рабочие становятся несколько тупоумными. Но из-за этого нельзя же требовать, чтобы такое дело было оставлено неоконченным. Повидимому, демократизирование Европы есть звено в цепи тех чудовищных профилактических мероприятий, которые составляют идею нового времени и которые все больше отдаляют нас от средних веков. Только теперь наступает эпоха циклопических построек! Только теперь создается прочный фундамент, на котором безопасно может покоиться все будущее! Впредь бурные горные потоки уже не в состоянии будут затоплять нив и пажей культуры! Только теперь возводятся охранительные стены и каменные плотины против варваров, против заразы, телесного и нравственного порабощения! Все это, усвояемое вначале грубо и буквально, постепенно становится более возвышенным и отвлеченным, так что все указанные здесь меры представляют богатую в духовном смысле общую подготовку для величайшего художника в деле садоводства, который только тогда может приняться за свое настоящее дело, когда выполнена будет вся эта предварительная работа. Конечно, в длинный промежуточный период, отделяющий подготовку средств от цели, при громадном чрезмерном труде, напрягающем все духовные силы, нельзя ставить в вину рабочим, если они громко провозглашают, что возведение стен и изгородей и есть настоящая, конечная цель: ведь никто еще не видел садовника и тех плодоносных растений, ради которых возводятся эти шпалеры.

276

Право всеобщей подачи голосов. — Народ не сам дал себе это право всеобщей подачи голоса; он получил и принял его на всякий случай, так что всегда может отказаться от него, если оно не оправдывает его надежд. Повидимому, повсеместно происходит в этом отношении одно и то же: где только существует всеобщее голосование, в нем принимают участие не все, а две трети, а это одно уже свидетельствует против всей системы голосования. Вообще судить об этой системе нужно с большою строгостью. Закон, по которому вопрос об общем

благополучию решается мнением большинства, не может покоиться на том же основании, на котором зиждется это благополучие; он нуждается в другом, более широком голосовании, а именно в единогласии всех. Общее право голоса должно быть признано не только большинством, но и всей страной, поэтому достаточно противоречия со стороны небольшого меньшинства, чтобы право это было уничтожено: а непринятие всеми участия в голосовании и есть как раз такое противоречие, которое влечет за собою падение всей системы. "Абсолютное veto" одного лица или, чтобы не впадать в мелочность, немногих тысяч, висит над этой системой, как неизбежное следствие, вытекающее из понятия о справедливости, и во всех случаях, когда прибегают к этому «veto», оно должно, судя по роду голосования, свидетельствовать о том, что основание его вполне законно.

277

Негодное заключение. — К каким негодным заключениям по вопросам не вполне знакомым приходят даже люди науки, привыкшие делать правильные заключения! Это ужасно! А между тем вполне ясно, что при всех великих мировых событиях, в деле политики, неожиданное и решающее значение имеют именно такие никуда не годные заключения, так как никто не может вполне знать, что нового принесла с собою протекшая ночь. Вся политика даже самых великих государственных людей есть не что иное, как импровизация наудачу.

278

Предпосылки машинного века. — Пресса, машина, железная дорога, телеграф — вот предпосылки, из которых никто еще не осмелился вывести тысячелетнего заключения.

279

Тормоз культуры. — Мы часто слышим, как говорят: "там мужчинам некогда заниматься производительным трудом; военные упражнения и переходы с места на место поглощают у них все время; остальная же часть населения должна кормить и одевать их; одежда же их бросается в глаза своей пестротой и глупыми украшениями. У людей признаются лишь немногие отличительные свойства, и больше, чем где бы то ни было все люди походят друг на друга, или по крайней мере с ними обращаются, как с людьми вполне одинаковыми. Там от человека требуют послушания без рассуждения, ему только приказывают, но тщательно остерегаются прибегать к убеждению. Наказаний существует немного, но они тяжелы и часто переходят границы крайней жестокости. Измена там считается величайшим преступлением и на критическое отношение ко злу отваживаются только самые смелые; жизнь ценится дешево, и честолюбие нередко принимает формы, грозящие опасностью для жизни". — Услыхав это, всякий скажет: "Это картина варварского общества, находящегося в опасности". Пожалуй, кто-нибудь добавит к этому: "Это изображение Спарты". Но найдутся люди, которые призадумаются и предположат, что эта картина современного нам милитаризма, являющегося в нашем культурном обществе живым анахронизмом, картиной варварского общества, посмертным произведением прошлого, имеющим для современного прогресса значение тормоза. — Однако же и тормоз в высшей степени необходим для культуры, а именно, когда она слишком быстро спускается с горы или, может быть, как в данном случае, слишком быстро подымается в гору.

280

Больше уважения к знанию! — При господстве конкуренции как в труде, так и в торговле, судьей в деле производства сделалась публика. Но публика мало мыслит в этом деле и судит о предметах по их наружному виду. Вследствие этого показное искусство (а может быть и вкус) при конкуренции улучшается, но в той же мере ухудшается качество произведений. Поэтому, если разум не совсем еще утратил свою цену, то необходимо положить предел этой конкуренции и создать новый господствующий над ней принцип. Судить о ремесле может только мастер; мнение же публики должно основываться на доверии к его личности и к его честности. Итак, долой всякий анонимный труд! По крайней мере, за доброкачественность товара должен своим именем ручаться какой-нибудь сведущий человек, если имя мастера неизвестно или ничего не говорит. Дешевизна в свою очередь тоже нередко вводит в заблуждение относительно достоинства продукта, хотя судить о дешевизне можно только, когда убедишься в доброкачественности. Но публика об этом не рассуждает. Итак: в настоящее время имеют преимущество те товары, которые эффектны на вид и стоят недорого; к таким товарам естественно принадлежат произведения машинной работы. Вследствие этого машины, ускоряющие и облегчающие производство, производят с своей стороны такие сорта, на которые больше всего спрос, иначе от машин не было бы никакой выгоды и они по большей части бездействовали и стояли бы. О том же, какие сорта больше всего требуются, судит, как уже сказано, публика, которая руководствуется в своем суждении наружным видом предмета и его дешевизной, что, разумеется, в высшей степени неправильно. Таким образом, и в области труда

мы должны держаться лозунга: больше уважения к знанию!

281

Опасность для правителей демократии. — Демократия имеет возможность, не прибегая к насилию, а только употребляя постоянное, вполне законное давление, довести своих правителей до роли нуля. Но нуль этот сохраняет свое обычное значение, т. е. ничего не знача сам по себе, он, будучи поставлен с правой стороны какого-либо числа, увеличивает значение последнего в десять раз. Президенты остаются роскошным украшением на простой, целесообразной одежде демократии, прекрасным излишком, который она позволяет себе, остатком исторической почтенной одежды предков, пожалуй, даже символом самой истории. В этом отношении они представляют из себя нечто такое, что может иметь чрезвычайно большое влияние, но, конечно, в том только случае, если они, подобно нулю, поставлены на надлежащем месте, а не особняком. — Во избежание опасности обратиться в ничто, президенты всеми силами держатся за свое звание военных правителей: им нужны войны, т. е. исключительные положения, так как в этих случаях приостанавливается медленное законное давление демократии.

282

Учителя — неизбежное зло. — Как можно меньше посредников между производительными умами и умами, жаждущими и воспринимающими духовную пищу. Все посредники почти всегда непроизвольно делают подмесь к передаваемой ими пище; к тому же они хотят за свое посредничество слишком большой платы, уделваемой им в ущерб оригинальным, творческим умам, а именно, платы в виде интереса, удивления, времени, денег и многого другого. Итак, учителей нужно считать таким же неизбежным злом, как и купцов, и по возможности сокращать необходимость в них. Если материальное бедственное положение Германии зависит в настоящее время главным образом от того, что в ней слишком много людей хотят жить и хорошо жить торговлей (т. е. стараясь покупать у производителей, насколько возможно, дешевле и продавать по возможности дороже потребителям, получая выгоду в ущерб тем и другим); то главной причиной нашего духовного бедственного положения является избыток учителей, благодаря чему так мало и так плохо люди учатся.

283

Дань уважения. — Человеку известному, уважаемому — будь то врач, художник или ремесленник, который что-либо делает или работает для нас, мы охотно даем за труд высокую плату, нередко даже превосходящую наши средства. Напротив, неизвестному мы предлагаем плату, насколько возможно, низкую. Здесь происходит борьба, где каждый борется за пядь земли и вызывает других на борьбу с собою. Для нас в труде человека известного заключается как бы нечто неоценимое: мы словно видим вложенные в него творческий дух и чувство и думаем, что можем выразить ему за это свою признательность не иначе, как ценою некоторого самопожертвования. Самая большая дань — это дань уважения. Чем больше господствует конкуренция и чем более приходится покупать у неизвестных, тем дань эта меньше; а между тем она-то и служит масштабом величия сердечных человеческих отношений.

284

Средство к действительному миру. — Ни одно правительство не сознается, что оно содержит войско ради удовлетворения своей страсти к завоеваниям. Войско существует якобы для защиты, и в доказательство его необходимости ссылаются на мораль, допускающую самооборону. Но ведь это другими словами значит, что мы, признавая за собою высокую нравственность, приписываем крайнюю безнравственность соседу, который будто бы своей склонностью к завоеваниям и нападению, вынуждает наше государство думать о средствах к самозащите. Кроме того, наш сосед, отрицающий, подобно нам, свои завоевательные наклонности и утверждающий, что держит войско в тех же видах самозащиты, как и мы, считается нами лицемером и коварным преступником, который без всякого повода и во всякое время готов напасть на безмятежную жертву, ничего подобного не ожидающую. В таких отношениях друг к другу находятся в настоящее время все государства: они предполагают у соседей только дурные побуждения, а у себя только хорошие. Такое предположение, однако, еще более негуманно, чем даже войны. Мало того: оно само по себе уже представляет побудительную причину к войне, так как, на основании вышесказанного отрицая у соседа нравственность, мы тем самым вызываем в нем враждебные настроения и действия. Нам необходимо вполне отречься как от склонности к завоеваниям, так и от учения, что войско необходимо для самообороны. И, может быть, наступит великий день, когда народ, отличавшийся войнами и победами, отличавшийся развитием милитаризма и привыкший приносить ради этого всевозможные жертвы, добровольно воскликнет: "мы разбиваем свой меч!" и вся военщина до самого основания будет уничтожена. — Сделаться безоружным, будучи перед этим наиболее вооруженным — единственное

средство к действительному миру, который всегда должен основываться на миролюбивом настроении. Так называемый же вооруженный мир служит признаком беспокойного состояния всех современных государств, которые не доверяют ни себе, ни соседям и, отчасти из ненависти, отчасти из страха не складывают оружия. Но лучше погибнуть, чем ненавидеть и бояться и вдвое лучше погибнуть, чем заставлять других бояться нас и ненавидеть! — Вот что должно стать высшим принципом каждой страны. — Нашим либеральным народным представителям некогда, как известно, думать о природе человека, иначе они поняли бы, что напрасно трудятся, стараясь достичь "постепенного ослабления бремени милитаризма". Мало того: надо помнить, что когда это бедствие становится слишком велико, то ближе всего оказывается та роковая судьба, которая одна и может помочь. Дерево военной славы, может быть, только сразу разбито ударом молнии, а молния, как известно, нисходит сверху.

285

Можно ли уравнивать имущество по справедливости. — Когда несправедливость в распределении имущества начинает сильно ощущаться — стрелка больших часов как раз указывает на это, — то, как на средства помочь в беде, указывают, во-первых, на уравнивание имущества, а во-вторых, на уничтожение личной собственности и в переходе ее в ведение общины. Последнее средство очень по сердцу нашим социалистам, которые весьма недовольны древней заповедью евреев: "Не укради". По их мнению, восьмая заповедь должна была бы гласить: "Не владей собственностью". — В древности нередко делались попытки, хотя и в малом масштабе, удовлетворить чувство справедливости по первому рецепту, т. е. по средством уравнивания имуществ. Однако попытки эти постоянно заканчивались неудачей, и это одно могло бы послужить для нас уроком. Легко сказать: "равные участки земли". Но сколько горечи скопится в сердце при проведении новых границ и межей, при утрате издавна чтимого имущества! Как часто бывает оскорблено и попрано при этом чувство благочестия! При перемене границ, меняется и самая нравственность. А среди новых собственников — опять сколько затаенных обид, сколько зависти друг к другу: ведь трудно найти два вполне одинаковых участка земли, а если, паче чаяния, таковые и найдутся, то зависть к соседу помешает признать это. И как долго тянулось это отравленное и нездоровое в самом корне равенство! Часто один участок земли переходил по наследству к пяти лицам и дробился между ними, тогда как в других случаях один человек наследовал пять участков. Правда, суровыми законами о наследстве старались устранить такую несправедливость, но все же иногда встречались люди, обладавшие равными участками, но нуждающиеся и недовольные, у которых ничего не было за душой, кроме недоброжелательства к родным и соседям и стремления все ниспровергнуть. — Если же поступить по второму рецепту, т. е. сделать собственником общину, а каждое отдельное лицо лишь временным арендатором, то это поведет только к истощению почвы. Человек — противник всего, чем владеет мимоходом. Он не прилагает к временному владению никаких забот и стараний, а относится к нему, как хищник, грабитель, т. е. беспутно расточает его. — Правда, Платон находит, что себялюбие исчезнет, как только будет уничтожена собственность, но на это ему можно было бы возразить, что с исчезновением себялюбия человек лишится своих четырех главных добродетелей. Самая страшная чума не в силах так повредить человечеству, как отсутствие тщеславия. Что представляют из себя человеческие добродетели без себялюбия и тщеславия? Мы будем недалеко от истины, если скажем, что они в сущности представляют не что иное, как звук пустой, простую личину добродетели. Утопическая основная мелодия Платона, которую по сие время распевают социалисты, основана на недостаточном знании людей. Ему незнакома была история нравственных восприятий и происхождение всех хороших и полезных свойств человеческой души. Платон, как и весь древний мир, смотрел на добро и зло, как на редкие противоположности, т. е. верил в радикальное различие добрых и злых людей, хороших и дурных качеств. — Чтобы собственность внушала больше доверия и была более нравственна, следует расчислить все пути к накоплению мелкой собственности и препятствовать стремлению к слишком быстрому обогащению. Все отрасли транспорта и торговли, способствующие скоплению крупной собственности, необходимо изъять из рук частных лиц и частных обществ и считать богатыми, как и неимущими, опасными элементами общества.

286

Ценность труда. — Цену труда никогда нельзя правильно вычислить, если мы будем определять ее по количеству затраченного на работу времени, прилежания, охоты или неохоты, принуждения, изобретательности или по большей или меньшей степени обнаруженной при работе лености, добросовестности, кажущегося усердия, так как в таком случае на чашку весов приходится класть всего человека, а это невозможно. Здесь уместно правило: "Не судите!" Однако люди, недовольные оценкой их труда, взывают о справедливости. Поразмыслив хорошенько, мы найдем, что ни одна личность не ответственна за свой продукт и за свой труд. Поэтому нельзя выводить из этого заключения о заслуге, любая работа настолько хороша или дурна, насколько это возможно при наличности известных сил и слабостей знаний и стремлений. Не от личной охоты рабочего зависит, имеет ли он работу и каковы ее качества. Оценка труда может только определяться с точки зрения его большей или меньшей полезности. То, что мы называем справедливостью, является здесь вполне уместным, как

высшая, утонченная полезность, имеющая в виду не только то, что имеет значение лишь для данного момента, для удовлетворения временного требования, но и то, что имеет значение лишь для данного момента, для удовлетворения временного требования, но и то, что имеет в виду продолжительное существование всех слоев общества и, стало быть, принимает в расчет и благосостояние рабочего: его телесное и душевное удовлетворение; рабочий и его потомки должны хорошо работать для наших потомков и притом так, чтобы мы могли иметь в виду более продолжительный промежуток времени, чем жизнь отдельного человека. Эксплуатация рабочего, как это теперь стало очевидно, является просто глупостью, хищничеством за счет будущего, вредом для общества. Уже в настоящее время происходит почти явная война; и во всяком случае издержки, необходимые для сохранения мира, заключения договоров и приобретения доверия, слишком велики, так как глупость эксплуатирующих была слишком велика и продолжительна.

287

Об изучении общественного организма. — Для человека, намеревающегося в настоящее время изучать в Европе, а именно в Германии, политику и экономию, худшим препятствием служит то, что существующий порядок представляет образец не правил, а исключений и переходных или исходных стадий развития. Поэтому он прежде всего должен научиться не придавать особенного значения фактически существующему, а обращать свои взоры вдаль, напр., на Северную Америку, где еще можно, при желании, наблюдать первоначальные и нормальные движения общественного организма, тогда как в Германии для этого необходимо трудное историческое изучение или, так сказать, зрительная труба.

288

Унизительное действие машин. — Машина безлична; она отнимает у предмета труда его гордость, его индивидуальные достоинства и недостатки, отличающие всякое немашинное производство, и таким образом как бы лишает его немножко человечности. Прежде всякая покупка у производителей служила отличием для людей, произведениями которых они окружали себя: домашняя утварь и одежда были, таким образом, символом взаимной оценки и личных отношений; тогда как в настоящее время мы, по-видимому, живем в анонимном и безличном рабстве. Не следует такую дороною ценою покупать облегчение труда.

289

Столетний карантин. — Демократические учреждения служат карантинном против чумы тиранических вожделений: и как таковые они очень полезны и очень скучны.

290

Опаснейший из приверженцев. — Самый опасный приверженец тот, утрата которого может уничтожить всю партию, следовательно — самый лучший приверженец.

291

Судьба и желудок. — Лишний бутерброд, съеденный жокеем, может иногда решающим образом повлиять на исход скачек, т. е. на счастье или несчастье целых тысяч. — Пока судьба народов зависит от дипломатов, желудок их вечно будет служить предметом патриотических забот. — *Quousque tandem.*

292

Торжество демократии. — Все политические партии стараются в настоящее время усилить свою власть, эксплуатируя ужас, внушаемый социализмом. Однако все выгоды от этого пока выпадают на долю демократии. Остальные партии вынуждены лстить «народу», даря ему всевозможные льготы и вольности, благодаря которым он становится наконец всесильным. Народ наиболее далек от социализма, как от учения об изменении способа приобретения собственности. Лишь только народ, благодаря своему численному превосходству в парламенте, получит возможность распределять по своему усмотрению подати, облагать прогрессивным налогом крупных капиталистов, торговцев, биржевиков, тотчас же последним будет положен предел и взамен их медленно создастся среднее сословие, которое забудет о социализме, как о перенесенной некогда болезни. — Практический результат этого все усиливающегося демократизирования выразится прежде всего в европейском союзе народов. Каждый отдельный народ, сообразно своим географическим границам, займет положение кантона с отдельным законодательством. Исторические воспоминания о существовавших доселе народах будут играть весьма незначительную роль, так как благоговейное чувство к ним постепенно будет вырвано с корнем

стремлением к реформам при господстве демократического принципа. Необходимое при этом исправление границ будет произведено таким образом, чтобы оно оказалось полезным для крупных кантонов и для всего союза; воспоминания же о седой старине не будут приниматься в расчет. Нахождение способов к исправлению границ составит задачу будущих дипломатов, которые одновременно должны быть исследователями культуры, политикоэкономами и знатоками международных отношений. В своих действиях им придется руководствоваться только пользой и упразднить войска. Только тогда внешняя политика будет тесно связана с внутренней, между тем, как теперь последняя все еще следует по пятам за своей гордой повелительницей, собирая в свой жалкий короб колосья, оставшиеся после жатвы внешней политики.

293

Цель демократии и ее средства. — Демократия старается создать и утвердить независимое положение возможно большего количества людей; она хочет добиться для всех независимости во мнениях, в образе жизни, в способах приобретения, поэтому она необходимо должна отказывать в праве голоса как людям, не имеющим никакой собственности, так и людям очень богатым, ибо и те и другие принадлежат к таким классам общества, которые только затрудняют задачу демократии и которые она всеми мерами старается устранить. Точно так же демократия должна препятствовать организациям партий, так как тремя важнейшими врагами для развития независимости являются голяки, богачи и различные партии. — Я говорю здесь о демократии, как о чем-то грядущем. Теперешняя же так называемая демократия отличается от старых форм правления единственно только тем, что едет на новых лошадях; дороги же и экипажи остались прежние. — Но меньше ли от этого стала опасность, грозящая народному благосостоянию?

294

Рассудительность и успех. — Рассудительность — это высокое качество, являющееся в сущности высшей добродетелью из добродетелей, матерью и владычицей всей добродетели, не всегда в обыденной жизни пользуется успехом; человек, рассчитывающий посредством этой добродетели добиться успеха, очень ошибется, если выберет ее себе в подруги жизни. Практические люди относятся к ней недоверчиво и смешивают ее со скрытностью и хитрым лицемерием. Человек же, не обладающий рассудительностью и быстро на все решающийся, считается честным простым и надежным малым. Таким образом, практические люди недолюбливают рассудительного и считают его для себя опасным. С другой стороны, непрактичные и преданные удовольствиям люди, не размышляющие ни о своем поведении, ни о своих обязанностях, легко принимают человека рассудительного за боязливого, ограниченного педанта и находят его неудобным, так как он не так легко относится к жизни, как они: он олицетворяет для них ходячую совесть и при виде его дневной свет меркнет в их глазах. Но если рассудительный человек и не пользуется расположением людей и успехом среди них, то все же может в утешение себе сказать: "как ни высок налог, который приходится платить за обладание драгоценнейшим преимуществом людей, все же оно стоит его!"

295

Et in Arcadia ego. — Стоя на высоком холме, я сквозь древние сосны и ели смотрел вниз на расстилающееся передо мною зеленое море: вокруг меня возвышались обломки скал, под ногами земля пестрела цветами и зеленью. Передо мною двигаясь, растягивалось стадо; вдали, близ мелкой хвойной поросли, при свете вечернего солнца резко выделялись коровы, группами и в одиночку; другие, стоявшие ближе, казались темнее. Всюду было разлито спокойствие и вечерняя сытость. Часы показывали около половины шестого. Бык, принадлежавший к стаду, вошел в пенящийся поток и медленно подвигался, борясь с его стремительным течением и уступая ему: он как будто находил в этом какое-то жестокое удовольствие. Здесь были два и смуглых создания пастух и пастушка, одетая почти как мальчик. Налево возвышались склоны скал и снежные поля, опоясанные широким рядом лесов; а направо, высоко надо мною, как бы плавали в солнечном тумане два громадных ледяных гребня. — Все дышало величием, тишиной и ясностью. Эта красота наполняло сердце трепетом и вселяла немое благоговение к моменту ее создания. Невольно, как нечто вполне естественное, мне представились греческие герои в этом чистом мире света (на котором нет отпечатка неясных стремлений, недовольства, оглядок на прошлое, заглядываний в будущее, во что-то ожидаемое). Воспринимать впечатления следует как Пуссен и его ученики — в героическом и идиллическом духе. Так жили некоторые люди, кладя свой вечный отпечаток на мир и ощущая этот мир в себе; и между ними был один из величайших людей — изобретатель героически-идиллической философии, Эпикур.

296

Вычисление и измерение. — Быстрота умственного счисления, т. е. искусство видеть за раз многие предметы,

взвешивать их между собою, сравнивать, делать из них быстрый вывод, составлять из них более или менее верную сумму — создает великих политиков, полководцев, купцов. Человек же, который видит только один предмет и считает его единственным руководящим мотивом жизни и судьей над всем остальным — такой человек становится героем или фанатиком, т. е. получает привычку измерять все одним масштабом.

297

Не следует глядеть не вовремя. — Пока человек что-либо переживает, он должен вполне отдаваться моменту и притом с закрытыми глазами, чтобы не быть вместе с тем и наблюдателем. Последнее обстоятельство помешало бы хорошему перевариванию переживаемого, и в результате вместо мудрости получилось бы расстройство желудка.

298

Из практики мудреца. — Чтобы сделаться мудрецом, надо переживать известные события и таким образом прямо бросаться им в пасть. Это, разумеется, очень опасно: многие «мудрецы» при этом погибали.

299

Усталость духа. — Наша случайная холодность и равнодушие к людям, принимаемые ими за жесткость и недостаток характера, часто проистекают от утомления духа. В этом случае все становится нам в тягость, и мы ко всем, даже к себе, относимся равнодушно.

300

"Одно необходимо". — Когда человек умен, ему нужно только одно: чтобы в сердце его царил радость. — Ах, прибавим к этому еще: если человек умен, то ему лучше всего постараться стать мудрым.

301

Доказательство любви. — Кто-то сказал: "я никогда много не размышлял о двух лицах; это служит доказательством моей любви к ним".

302

Как стараются улучшить дурные аргументы. — Некоторые люди бросают вслед за дурными своими аргументами частицу своей личности, как будто это может помочь аргументам найти более правильный путь и из дурных обратиться в хорошие. Здесь происходит то же, что с игроками в кегли: бросив первый шар, они размахиваньем второго шара и всем положением своего тела как бы стараются придать первому должное направление.

303

Честность. — Слишком мало, если человек служит образцом честности по отношению к чужим правам и к чужой собственности: мальчиком не рвет ягод в чужом саду, а взрослым не топчет нескошенного луга; мы берем мелкие факты, потому что они, как известно, дают более наглядные доказательства, чем крупные, для подобного рода образцового поведения. Этого, говорю, слишком еще мало: человек при этом все еще только "юридическое лицо" с тою степенью нравственности, на которую способно даже общество, толпа людей.

304

Человек! — Что значит тщеславие тщеславнейшего из людей перед тщеславием самого скромного, чувствующего себя "в природе и в мире человеком!"

305

Самая необходимая гимнастика. — Вследствие недостатка самообладания в мелочах можно лишиться этой способности и в более крупных вещах. Если человек в течение дня ни разу не отказал себе ни в одном своем, хотя бы мелочном, желании, то он дурно воспользовался этим днем и дурно подготовился к следующему. Подобного рода гимнастика необходима для человека, если он хочет иметь удовольствие управлять собой.

306

Терять себя. — Если человек находит себя, то он должен уметь время от времени терять себя и потом снова находить, предполагая, что человек этот мыслитель. Для него даже вредно быть вечно привязанным к одному и тому же лицу.

307

Когда следует прощаться. — Ты должен, хотя бы на время, проститься с тем, что желаешь изучить и измерить. Только покидая город, ты замечаешь, как высоко над домами возвышаются его башни.

308

В полдень. — Душой человека, на долю которого выпало деятельное и бурное утро жизни, овладевает в полдень странная жажда спокойствия, могущая длиться месяцы и годы. Вокруг него все тихо, голоса звучат где-то далеко и удаляются все больше и больше; солнце светит на него с высоты. На уединенной лесной лужайке видит он заснувшего великого Пана; все в природе вместе с ним погрузилось в дремоту с выражением вечности на лице — так думается ему. Он ничего не хочет, ни о чем не заботится, сердце его перестало биться — живо только зрение: это смерть с открытыми глазами. Человек, находясь в таком состоянии, многое видит из того, чего раньше он никогда не видел, и все кажется ему сплетенным в светлую сеть и прикрыто ею. Он при этом чувствует себя счастливым, но какое это тяжелое счастье! — Однако вот ветер начинает шуметь меж деревьев; полдень миновал; жизнь снова влечет его к себе, жизнь с ослепленными глазами в сопровождении своей шумной свиты, состоящей из желаний, обманов, грез, забвений, наслаждений, гибели и исчезновений. Так наступает вечер жизни, более бурный и более деятельный, чем самое утро. Для особенно деятельного человека слишком продолжительный период приобретения знаний кажется чем-то почти страшным, болезненным, но не неприятным.

309

Остерегайтесь своего художника! — Великий художник, сумевший выразить на портрете все скрытые душевные свойства и наклонности человека, при встрече с этим человеком в обыденной жизни почти всегда видит в нем только карикатуру.

310

Два основные положения новой жизни. — Первое положение: необходимо установить жизнь на верной, доказанной основе, а не на отдаленной, туманной и неопределенной, как было раньше. Второе положение: прежде чем устроить свою жизнь и придать ей окончательное направление, необходимо твердо установить, что считать ближайшим и близким, вполне верным и менее верным.

311

Опасная раздражительность. — Даровитых, но ленивых людей всегда немножко раздражает, когда кто-нибудь из их друзей успешно заканчивает свою работу. В них пробуждается ревнивое чувство, они начинают стыдиться своей лени или, вернее, опасаться, что деятельный человек станет презирать их сильнее, чем прежде. В таком настроении они приступают к критике нового произведения, и критика их, к величайшему изумлению человека, вызвавшего ее, обращается в месть.

312

Разрушение иллюзий. — Иллюзии, конечно, принадлежат к числу очень дорогих удовольствий; но разрушение иллюзий, рассматриваемое как удовольствие, несомненно испытываемое некоторыми людьми, обходится еще дороже.

313

Однообразное в мудреце. — У коров встречается иногда выражение удивления, граничащее с вопросом. Наоборот, во взгляде высоко интеллигентных лиц разлито выражение *nil admirari*, напоминающее однообразный цвет безоблачного неба.

Не слишком долго болеть. — Остерегайтесь болеть слишком долго; окружающие вас люди, вследствие скучной обязанности выражать вам участие, скоро начинают чувствовать нетерпение — так как им трудно долго поддерживать в себе это состояние — и тогда они вдруг приходят к нелестному мнению о вашем характере и к заключению, что вы заслуживаете быть больным и что им нечего больше принуждать себя к состраданию.

Намек энтузиастам. — Кто легко увлекается и любит возноситься под облака, тот не должен быть чересчур тяжелым, иначе сказать: не должен много учиться и переполнять себя наукой. Последняя делает человека слишком неповоротливым! Примите это к сведению, энтузиасты!

Уметь застигать себя врасплох. — Кто хочет видеть себя таким, каков он есть, должен уметь застигать себя врасплох с факелом в руке; ведь в духовной области происходит то же, что и в телесной: человек, привыкший смотреть на себя в зеркало, всегда забывает о своем безобразии; только художник, изобразив его на портрете, снова напоминает ему об этом. Но привыкнув к портрету, он вторично забывает о своем безобразии. — Согласно общему закону, человек не выносит ничего неизменно безобразного дольше одного момента, затем он или забывает о нем, или, во всяком случае, отрицает его. Моралисты должны рассчитывать на этот момент, когда провозглашают свои истины.

Мнения и рыбы. — Человек владеет своими мнениями как и рыбами, если у него есть рыбный пруд. Нужно приняться за ловлю; тогда, в случае удачи, будет и своя рыба, будут и свои мнения. Я говорю о живых мнениях и о живых рыбах. Многие довольствуются кабинетом ископаемых и тем, что в их голове таятся «убеждения».

Признаки свободы и несвободы. — По возможности, если и не вполне, самому удовлетворять всем своим необходимым потребностям есть признак стремления к свободе духа и личности. Однако стремление насколько возможно полно удовлетворять многим излишним потребностям — свидетельствует уже о несвободе. Софист Гиппий, который все, что он носил в себе и на себе, приобрел и сделал сам, может служить образцом стремления к высшей свободе духа и личности. Дело здесь не в том, чтобы все было выполнено в совершенстве и одинаково хорошо: гордость уже сумеет исправить недостатки.

Верить себе. — В наше время люди относятся с недоверием к тому, кто верит в себя; прежде же этого было достаточно, чтобы заслужить доверие. Рецепт, по которому теперь можно приобрести доверие, состоит в следующем: "Не щади себя! Если желаешь выставить свое мнение в свете доверия, то подожди прежде всего свою собственную хижину!"

Богаче и вместе с тем беднее. — Я знаю человека, который с детства привык с уважением думать об уме людей, об их нелицемерной преданности умственным интересам, об их бескорыстном предпочтении всего признаваемого за истинное и т. п. О собственной же голове (о суждении, памяти, уме, фантазии) он имел самое скромное и низкое понятие. В сравнении с другими людьми он считал себя за ничтожество. Однако с течением времени, благодаря сотне фактов, он вынужден был изменить это мнение — к великой, надо полагать, своей радости и к немалому удовольствию. Он, действительно, и испытывал эти чувства, но "к ним, говорил он, примешивалась такая сильная горечь, какой раньше я никогда не испытывал; так как с тех пор, как я стал в умственном отношении более верно ценить себя и людей, ум мой кажется мне менее полезным. Я думаю, что вряд ли я могу доказать им что-нибудь полезное, так как полезное трудно усваивается умом людей. Постоянно передо мною рисуется теперь бездна, отделяющая людей, желающих оказать помощь, от нуждающихся в ней, и меня мучит необходимость обладать умом только для себя и только самому, насколько возможно, пользоваться им. Но давать отраднее, чем иметь. И к чему человеку все богатства, если он находится в уединенной пустыне!"

321

Как следует нападать. — Только у чрезвычайно редких людей вера или неверие поддерживается на твердых основаниях, обыкновенно же для того, чтобы поколебать веру, нет никакой надобности прибегать к помощи тяжелых орудий. Нередко можно достигнуть этого, производя побольше шума, для чего достаточно и простых хлопущек. Против очень тщеславных людей довольно притвориться, будто готовишься к сильному нападению; — это убеждает их в серьезном отношении к ним и они охотно сдаются.

322

Смерть. — Уверенность в неизбежности смерти должна была бы подмешивать к жизни драгоценную, благоухающую каплю легкомыслия, а вы, аптечные души, сделали ее горькой каплей яда, вследствие чего вся жизнь становится противной.

323

Раскаяние. — Никогда не следует предоставлять полного простора раскаянию, а наоборот твердить себе, что раскаиваться — значит к одной содеянной глупости присоединять другую. — Если пришлось причинить какой-нибудь вред, то надо подумать, как возместить его добром. Если же за свой поступок подвергаешься наказанию, то к наказанию следует отнестись так, как к источнику чего-нибудь хорошего, как к предостережению, напр., других от такого же глупого поступка. Каждый наказанный преступник может смотреть на себя, как на благодетеля человека.

324

Сделаться мыслителем. — Как может кто-нибудь сделаться мыслителем, если он по крайней мере трети дня не проводит без людей, без книг и не предаваясь страстям.

325

Лучшее лекарство. — Лучшее средство для больного — немножко поубавить и затем прибавить здоровья.

326

Не касаться! — Есть страшные люди, которые вместо того, чтобы разрешать проблему, только путают ее и затрудняют других, желающих заняться ее разрешением. Кто не знает, как следует взяться за дело, пусть уже лучше не берется за него.

327

Забытая природа. — Мы говорим о природе и забываем при этом о себе: ведь мы сами природа *quand meme* — следовательно, природа есть нечто более совершенное чем то, что мы подразумеваем, говоря о ней.

328

Глубина и скука. — В глубоких людях, как в глубоких колодцах, все, что в них ни попадает, долго не достигает дна. Зрители, которые обыкновенно не достаточно долго ждут, легко принимают таких людей за неподвижных и черствых или даже за скучных.

329

Когда наступает время присягнуть себе в верности. — Мы иногда подчиняемся такому умственному направлению, которое находится в противоречии со всей нашей природой. Долгое время мы геройски боремся против течения и ветра, т. е. в сущности против самих себя; нас это утомляет, и мы задыхаемся от усталости. Выполняя что-либо, мы уже не чувствуем истинной радости; нам кажется, что успехи наши достаются нам слишком дорого. Мало того, даже одерживая победу, мы отчаиваемся в плодотворности своей деятельности, в своем будущем. Наконец-то, наконец мы сворачиваем в сторону; ветер надувает наши паруса и направляет нас в наш фарватер. Какое счастье! Какая является в нас уверенность в победе! Только теперь мы сознаем, что мы такое и чего мы хотим; только теперь клянемся мы в верности себе и имеем на это право, как люди знающие.

330

Предсказатели погоды. — Как облака дают нам понятие о направлении ветра там, высоко над нами, так самые легкие и свободные умы своим направлением возвещают нам наступление вероятной погоды. Ветер в долине и ходячие мнения сегодняшнего дня ничего не значат по отношению к будущему, а указывают только на то, что уже было.

331

Постоянное ускорение. — У людей, медленно начинающих дело и с трудом осваивающихся с ним, развивается иногда способность к ускоренной деятельности, — так что никто в конце концов не может угадать, куда унесет их поток.

332

Три хорошие вещи. — Величие, спокойствие, солнечный свет — вот три вещи, обнимающие все, вот то, чего желает и требует от себя мыслитель: вот все его упования и обязанности, все его притязания на интеллектуальность и нравственность при обычном его образе жизни и даже в деревенском уединении. Каждой из этих трех вещей соответствуют, во-первых, возвышенные идеи, во-вторых, успокаивающие, в-третьих, — просветляющие и, в-четвертых, наконец, такие идеи, которые играют роль во всех трех случаях и преобразуют все земное — это область, где господствует троичность радости.

333

Умереть за «правду». — Мы не дали бы сжечь себя за свои мнения — не настолько мы уверены в их справедливости. Но, может быть, мы согласились бы на эту жертву, чтобы иметь свои мнения и пользоваться правом изменять их.

334

Иметь свою таксу. — Человек, желающий пользоваться заслуженным значением, должен представлять из себя нечто, имеющее определенную таксу. Но только заурядное имеет таксу. Поэтому, желание это свидетельствует или о благоразумной скромности, или о глупом нахальстве.

335

Мораль для строителей. — Когда дом выстроен, надо убрать леса.

336

Софоклизм. — Никто больше греков не подмешивал воды в вино! Воздержание в соединении с грацией было отличительным признаком благородного афинянина во времена Софокла и после него. Пусть кто может подражает этому в жизни и в творчестве!

337

Героическое. — Героическое состоит в том, что человек совершает великое (не по обычному шаблону), не думая о соревновании с другими в глазах других. Героя, где бы он ни был, везде отделяет священная неприступная граница.

338

Двойник в природе. — В некоторых местностях мы с сладостным ужасом открываем самих себя — это наш прекраснейший двойник. Как счастлив должен быть тот, кто испытывает это чувство здесь при этом солнечном октябрьском свете, при этом резвящемся счастливом ветерке, играющем с утра до вечера, при этой чистейшей прозрачности и умеренной прохладе, в этой равнине с присущим ей благовеино серьезным отпечатком, с ее холмами, озерами и лесами, — в равнине, которая без страха раскинулась рядом с ужасами вечного снега; здесь, где Италия и Финляндия как будто смешались и где как бы находится родина всех серебристых оттенков природы. Как счастлив тот, кто может сказать себе: "В природе, разумеется, есть еще много более

величественного и прекрасного, но то, что здесь, передо мною, мне ближе, родственнее, я не только кровно связан с окружающим меня, но даже более того!"

339

Снисходительность мудреца. — Снисходительно, как царь, невольно относится мудрец к людям и держится одинаково со всеми, несмотря на различие дарований, положений и нравов. Подметив это, люди страшно на него обижаются.

340

Золото. — Все, что золото, не блестит. Мягкое сияние — вот свойство благородного металла.

341

Колесо и тормоз. — У колеса и у тормоза разные задачи, и только — одна общая; причинять друг другу боль.

342

Отношение мыслителя к помехам. — Любой перерыв в своей работе, (всякую, так называемую помеху) мыслитель должен встречать миролюбиво, как новую натурщицу, являющуюся предложить художнику свои услуги. Помехи — это вороны, приносящие хлеб отшельнику.

343

Иметь большой ум. — Иметь большой ум значит дольше оставаться юным. С этим нужно примириться, чтоб казаться старше, чем мы на самом деле. Ведь люди принимают черты, проводимые умом за следы жизненного опыта, т. е. долгой плохой жизни, полной страдания, заблуждения, раскаяния. И так, кто одарен большой духовной силой и кто проявляет ее, тот и считается старше и хуже, чем он есть на самом деле.

344

Как надо побеждать. — Ты не должен желать победы над соперником, если имеешь в виду иметь над ним преимущество только на волосок. Добрая победа должна придавать радостное настроение и побежденному: в ней должно заключаться нечто божественное, чуждое чувству стыда.

345

Заблуждение умных людей. — Умным людям трудно отделаться от заблуждения, и не думать, будто посредственность завидует им и считает их за исключение. На самом же деле посредственность считает их за нечто, вполне излишнее, без чего легко обойтись.

346

Требование опрятности. — Для иных натур перемена в образе мыслей такая же потребность, как смена грязной одежды. Для других это — просто требование их тщеславия.

347

Тоже достойно героя. — Вот герой; он ничего не сделал, а только потряс дерево, когда плоды уже созрели. Вы думаете, это слишком мало? Так взгляните сперва на дерево, которое он потряс.

348

Мерило мудрости. — Рост мудрости можно точно измерять степенью уменьшения злобы.

349

Неприятно высказывать заблуждение. — Не всякому нравится, чтобы истину высказывали в приятной форме, но никто пусть не думает, что заблуждение может стать истиной, если высказывается неприятным образом.

Золотой жребий. — Много цепей наложено на человека, чтоб отучить его от зверских привычек. И действительно, он теперь стал мягче, нравственнее, радостнее и умнее остальных животных. Но до сих пор он все еще страдает от того, что так долго носил цепи, так долго лишен был чистого воздуха и свободных движений. Цепями этими, повторяю снова и снова, служили ему тяжелые глубокомысленные, нравственные, мистические и математические заблуждения. Только когда пройдет и эта боль от цепей, тогда вполне достигнута будет первая великая цель — полное отделение человека от животных. Мы же теперь находимся в самом разгаре этой работы освобождения от цепей, и нам при этом необходима величайшая осторожность. Только вполне облагороженному человеку может быть дарована свобода духа. Только ему облегченная жизнь близка и служит елеем для его ран. Только он имеет право сказать, что живет для радости и что нет у него никакой цели. В устах других опасен был бы лозунг: "мир кругом меня и благоволение ко всем ближайшим предметам". При этом лозунге по отношению к единичным личностям вспоминаются старые великие и трогательные слова, относившиеся ко всем и остающиеся непреложными и до сих пор для всего человечества, как девиз и как грозное предостережение от неизбежной гибели всем, кто слишком рано украсил бы ими свое знамя. Все еще, по-видимому, не настала пора, чтобы над всеми людьми, как над древними пастухами, разверзлись небеса и послышался голос, возвещающий: "на земле мир, и в человецех благоволение!" Да, и теперь это еще жребий только отдельных, единичных личностей.

Тень. — Изю всего высказанного тобою мне больше всего понравилось твое обещание, — жить опять добрыми соседями со всем, что ближе всего к жизни. Это не худо и для нас, бедных теней. Ведь, признайтесь, что раньше вы слишком охотно клеветали на нас.

Странник. — Клеветали? Но почему же вы никогда не защищались? Наши уши, ведь, были близки от вас.

Тень. — Нам казалось, что мы слишком близки к вам, чтобы говорить о самих себе.

Странник. — Деликатно! — Очень деликатно! Я замечаю, что вы, тени, более люди, чем мы сами.

Тень. — А вы еще зовете навязчивыми нас, так хорошо умеющих по крайней мере молчать и ждать. Никакой англичанин не перешеголяет нас в этом отношении. Правда, часто, даже слишком часто, нас видят спутниками человека, но рабами его — никогда. Кто избегает света, того и мы избегаем. Вот насколько велика наша свобода.

Странник. — Ах, слишком часто свет бежит от человека, и тогда вы тоже покидаете его.

Тень. — Я часто с болью покидала тебя. Мне, при всей моей любознательности, все еще многое остается темным в человеке, потому что я не всегда могу быть с ним. Ценою полного познания человека я согласилась бы даже стать твоей рабой.

Странник. — Но знаю ли я, знаешь ли ты, что из рабы ты не превратишься неожиданно в мою властительницу или что тебя не ждет унижительная жизнь рабы, презирающей своего господина? Будем и ты и я лучше довольствоваться своей свободой. Вид рабы отравил бы мне все величайшие радости. Мне опротивело бы даже самое лучшее, если бы кто-нибудь обязан был разделять его со мной. Я не хочу знать рабов вокруг себя. Поэтому я не терплю и собаки, этого гадкого, виляющего хвостом блюдолиза. Она первая проявила «собачью» преданность, и люди еще так хвалят ее за то, что она верна своему господину и следует за ним, как...

Тень. — Как тень, так говорят они. Может быть сегодня я тоже слишком долго следовала за тобой? Это был самый длинный день, но он близится к концу, потерпи еще немного. Трава уже влажна, и дрожь пронизывает меня.

Странник. — Разве пора уже прощаться? А я еще под конец обидел тебя. Я заметил, ты стала темнее.

Тень. — Я покраснела, окрасилась в свой цвет. Мне казалось, что я часто лежала у твоих ног, как собака, и что ты тогда...

Странник. — Не могу ли я наскоро сделать тебе чего-нибудь приятного? Нет ли у тебя какого желания?

Тень. — Никакого, за исключением высказанного философом «собакой» Александру Великому: посторонись немного от солнца, мне очень холодно.

Странник. — Что я должен сделать?

Тень. — Встань под эти сосны и взгляни на горы: солнце заходит.

Странник. — Где ты? Где же ты?